

Борис
САВИНКОВ



ВОСПОМИНАНИЕ
ТЕРРОРИСТА

Борис Викторович Ропшин

Конь бледный

Текст предоставлен изд-вом
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171978
Воспоминания террориста: АСТ, Транзиткнига; 2003
ISBN 5-17-021230-5, 5-9578-0605-6

Аннотация

...Борис Савинков. Яркая личность. Блестящий экспрессивный писатель. Один из лидеров партии эсеров, придерживающийся `ультралевых`, радикальных убеждений. Яростный противник большевиков и большевизма. Видный теоретик `метода индивидуального террора`, руководитель шпионско-диверсионной антисоветской группы в Париже. Арестован в 1924 г. во время нелегального перехода границы. Покончил с собой 7 мая 1925 г.

Произведение входит в авторский сборник «Воспоминания террориста».

Содержание

I	4
II	67
III	99

В. Ропшин

Конь бледный

*«...и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним...»
Откр. VI, 8.*

*«...кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза».
I. Иоан. II, 11.*

I

6 марта.

Вчера вечером я приехал в N. Он все тот же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, в монастыре звонят к обедне. Я люблю этот город. Он мне родной.

У меня паспорт с красной печатью английского короля и с подписью лорда Ландсдоуна. В нем сказано, что я, великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штампель: «турист».

В гостинице все знакомо до скуки: швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потертый диван, пыльные занавески. Под столом три кило динамита. Я привез их с собой из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова.

Я сегодня пойду по городу. На бульваре темно, мелкий снег. Где-то поют куранты. Я один, ни души. Передо мною мирная жизнь, забытые люди. А в сердце святые слова:

Я дам тебе звезду утреннюю.

8 марта.

У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жметя ко мне и говорит:

– Ведь ты меня любишь немножко?

Когда-то давно она отдалась мне, как королева: не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь, как нищенка, просит любви. Я смотрю в окно на белую площадь.

Я говорю:

– Посмотри, какой нетронутый снег.

Она опускает голову и молчит.

Тогда я говорю:

– Я вчера был за городом. Там снег еще чище. Он розовый. И синие тени берез.

Я читаю в ее глазах: «Ты был без меня».

– Послушай, – говорю я опять, – ты была когда-нибудь в русской деревне?

Она отвечает:

– Нет.

– Ну так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно: белый снег и белый цветок. Ты не видала? Нет? Ты не поняла? Нет?

Она шепчет:

– Нет.

А я думаю о Елене.

9 марта.

Губернатор живет в старинном доме. Кругом шпионы и часовые. Двойная ограда.

Нас немного: пять человек. Федор, Ваня и Генрих – извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрн – химик. Она приготовит снаряды.

У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах его дома мы вместе встречаем гостей. Вместе гуляем в саду, за решеткой. Вместе прячемся по ночам. Вместе молимся Богу.

Я его видел сегодня. Я ждал его на улице. Долго бродил по замерзшему тротуару. Падал вечер, был сильный мороз. Я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт, сыщики заметались. Улица замерла.

Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжею бородою. Ручка дверец изгибом, желтые спицы колес. Следом

– сани.

В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня: я был для него улицей.

Счастливым, медленно я вернулся домой.

10 марта.

Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но хочу его смерти. Я верю, что сила ломит солому, не верю в слова. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы.

Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что одного можно убить, а другого нельзя. Всячески говорят.

Я не знаю, почему нельзя убивать. И не пойму никогда, почему убить во имя вот этого – хорошо, а во имя вот того-то – дурно.

Помню, я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке у изрытой дождем дороги. Иногда шептали березы, пролетали желтые листья. Я ждал.

Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял между берез. На залитой кровью, побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк.

Дома я сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто не я отнял у него самое ценное – жизнь. И я спрашиваю себя: почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его?

11 марта.

Федор – бывший рабочий. Он в синем халате, в извозчи-
чьем картузе. Сосет с блюдечка чай.

Я говорю ему:

– Ты где был тогда?

– Я-то? Я в доме сидел.

– В каком доме?

– В школе, в городской то есть.

– Зачем?

– В резерве я был.

– Значит, ты не стрелял?

– Как нет?

– Да ты расскажи.

Он машет рукой:

– Да что... Тут скоро шум большой вышел. Потолок про-
било.

– А ты что?

– Я? Что ж я? Я главное в резерве был. А потом приказ
вышел: уходить. Ну, мы видим: дела – хоть закуривай. Подо-
ждали малое время – ушли.

– Куда ж вы ушли?

– А в нижний этаж ушли. Там ловчее.

Он говорит неохотно. Я жду.

– Да, – продолжает он, помолчав. – Была тут одна... со мной солидарная... вроде будто жена.

– Ну?

– Ну, ничего... убили ее.

За окном гаснет день.

13 марта.

Елена замужем. Она живет здесь. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам, в свободные дни, я брожу по бульвару вокруг ее дома. Пушится иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже 10 часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Говорю себе: я не встретил ее вчера, я встречу ее сегодня.

Год назад я впервые увидел ее. Весной был проездом в N. и утром ушел в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зеленой сетке ветвей стояла женщина. Она не замечала меня. Но я уже знал: она слышит то, что я слышу.

Это была Елена.

14 марта.

Я у себя в комнате. Наверху, надо мной, тихо звенит фортепиано. Шаги тонут в мягком ковре.

Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Не хочу знать будущего. Стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе:

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie,
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie.

Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На «звезду утреннюю»? Я знаю: если мы убили вчера, то убьем и сегодня, неизбежно убьем и завтра. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Ну а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь. С нею – в могилу.

Je ne vois plus rien,
Je perds la m e moire
Du mal et du bien.
Ô, la triste histoire!

Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода? Какая жал-

кая свобода... И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя крови, для крови?...

Je suis un berceau,
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau
Silence, silence...¹

В двери стучат. Это Эрна.

17 марта.

Я не знаю, почему я иду... но знаю, почему идут многие. Генрих убежден, что так нужно. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня... Но пусть Ваня скажет сам за себя.

Накануне он возил меня по городу. Я назначил ему свидание в скверном трактире.

Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит:

– Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе?

– О ком? – переспрашиваю я.

– О Христе? О Богочеловеке Христе?... Думал ли ты, как верить и как жить? Знаешь, у себя на дворе я часто читаю

¹ Я в черные дни Не жду пробужденья. Надежда, усни. Усните, стремленья!
Спускается мгла На взор и на совесть. Ни блага, ни зла, О, грустная повесть! Под чьей-то рукой Я – зыбки качанье В пещере пустой... Молчанье, молчанье! (Пер. с фр. Ф. Сологуба). – Ред.

Евангелие, и мне кажется есть только два, всего два пути. Один – все позволено. Понимаешь ли: все. И тогда – Смердяков. Если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос – человек, то нет и любви, значит, нет ничего... И другой путь – путь Христов ко Христу... Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, можно тогда убить или нельзя?

Я говорю:

– Убить всегда можно.

– Нет, не всегда. Нет, убить – тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе – опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь... И ведь знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест.

– Не смейся, – говорит он через минуту, – зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь: бред. Ведь ты скажешь, ты скажешь: бред?

Я молчу.

– Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Что же, скажи, страшнее, если

смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать ее? А ты будешь искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона, кровь для тебя – вода. Но слушай же меня, слушай: будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь: смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и в крови. Но Христос в милосердии своем будет со мною.

Я пристально смотрю на него. Я говорю:

– Так не убий. Уйди.

Он бледнеет.

– Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не идти, ибо я люблю. Если крест тяжел – возьми его. Если грех велик – прими его. А Господь пожалеет тебя и простит. И простит, – повторяет он шепотом.

– Ваня, все это вздор. Не думай об этом.

Он молчит.

На улице я забываю его слова.

19 марта.

Эрна всхлипывает. Она говорит сквозь слезы:

– Ты меня совсем разлюбил.

Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно: я никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки.

Я внимательно смотрю на них и говорю:

– Эрна, не плачь.

Она подымает глаза. Нос у нее покраснел, и нижняя губа некрасиво отвисла. Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает меня за рукав:

– Не сердись. Я не буду.

Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щеки, наконец, незаметно выкатывается слеза. У нее тихие слезы.

Я беру ее к себе на колени.

– Послушай, Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?

– Нет.

– Разве я тебя обманул? Разве я не сказал, что люблю другую?

Она вздрогнула и не отвечает.

– Говори же.

– Да. Ты сказал.

– Слушай же дальше. Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе, я скажу. Ведь ты мне веришь?

– О да.

– А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою.

Я целую ее. Счастливая, она говорит:

– Милый мой, как я люблю тебя.

А я глаз не могу оторвать от ее больших рук.

21 марта.

Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресторане, на улице я говорю на ломаном русском языке. Выходят недоразумения.

Вчера я был в театре. Рядом со мной – купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне:

– Вы какой нации?

Я молчу.

– Я спрашиваю: какой вы нации?

Я, не глядя на него, отвечаю:

– Подданный его величества великобританского короля.

Он переспрашивает:

– Кого?

Я поднимаю голову и говорю:

– Я англичанин.

– Англичанин? Так-с, так-с, так-с... Самой мерзкой нации. Так-с. Которые на японских миноносцах ходили, у Цусимы Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали... А теперь, извольте, к нам в Россию пожаловали. Нет, не позволяю я этого.

Собираются любопытные. Я говорю:

– Прошу вас молчать.

Он продолжает:

– В участок его. Может, он опять японский шпион или жулик какой... Англичанин. Знаем мы их, англичан этих... И чего полиция смотрит?

Я шупаю в кармане револьвер.

– Второй раз: прошу вас молчать.

– Молчать? Нет, брат, пойдем в участок. Там разберут.

Недозволено, чтобы, значит, шпионы. Нет. Ура! С нами Бог!

Я встаю. Смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо:

– В последний раз: молчать.

Он пожимает плечами и молча садится.

Я выхожу из театра.

24 марта.

Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные – настоящий «Ванька».

Он везет нас: меня и Эрну. За заставой обернулся и говорит:

– Намедни попа одного возил. На Круглую площадь рядился, пятиалтынный давал. Ну а где она, Круглая площадь? Везу. Крутил я, крутил. Стал наконец поп ругаться: куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен город, как мешок с овсом, знать, а ты, говорит, экзамен небось за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа ради... А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк за полтин-

ник вместо меня явился.

Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с одушевлением:

– Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я не глядя: Господи благослови, – через рельсы. Ка-ак барин-то вскочит и давай меня по шее тузить: ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь, сукин сын? А я и говорю, не извольте, говорю, ваше сиятельство, себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут, слышу, барыня по-французски заговорила: Жан, не волнуйся, во-первых, тебе это вредно, а кроме того, и извозчик, говорит, человек. Ей-богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что человек, да ведь какая скотина... А она: фи, говорит, Жан, что ты, право, стыдись... Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугривенный подает... Не иначе: кадеты... Н-но, милая, выручай!..

Генрих стегает свою лошаденку. Эрна незаметно жметя ко мне.

– Ну а вы как, Эрна Яковлевна, привыкли?

Генрих говорит робко. Эрна нехотя отвечает:

– Ничего. Конечно, привыкла.

Направо парк, черный переплет обнаженных ветвей. На-лево – белая скатерть поля. Сзади – город. Сияют на солнце

церкви.

Генрих примолк. Только сани скрипят.

Приехали. Я сую ему в руку полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед.

Эрна мне шепчет:

– Можно сегодня прийти к тебе, милый?

28 марта.

Губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Подгородное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят в одних местах, я брожу в других.

Мы уже много знаем о нем. Знаем его лошадей, его кучера, его карету. Ошибиться нельзя, и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первый...

29 марта.

Приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири – тяжелая жизнь старого деятеля. У него грустные глаза и седая бородка клином.

Мы сидим в ресторане. Он застенчиво говорит:

– Вы знаете, Жорж, поднят вопрос о временном прекращении дел. Что вы об этом думаете?

– Человек, – подзываю я полового, – поставь машину из «Корневильских колоколов».

Андрей Петрович опускает глаза:

– Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как сов-

местить с этим... парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет ничего, и тогда, конечно... Ну, что вы думаете об этом?

– Что думаю? Ничего.

– Вы подумайте. Может быть, придется вас распустить, то есть организацию распустить.

– Что? – переспрашиваю я.

– То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим... И потом, ведь это только предположение.

У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он, наверное, живет в нищей каморке, где-нибудь на окраине города, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими делами. Он «делает» дело...

Я говорю:

– Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там как хотите. Это ваше право. Но как бы вы ни решили, мы свое сделаем...

– Что вы? Вы не подчинитесь?

– Нет.

– Послушайте, Жорж...

– Я сказал, Андрей Петрович.

– А партия? – напоминает он.

– А дело? – отвечаю я.

Он вздыхает. Потом протягивает мне руку:

– Я там ничего не скажу. Авось как-нибудь обойдется. Вы

не сердитесь?

– Я не сержусь.

– Прощайте, Жорж.

– Прощайте, Андрей Петрович.

Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик, бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть царство небесное.

30 марта.

Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?

Я знаю: глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну если я даже встречу ее? Что изменится? Ничего.

А вот вчера на главной улице у магазина я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна, спиной ко мне, и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.

Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Не знаю, что он прочел в моих.

Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще: когда я думаю о нем,

Я вспоминаю слова:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха, —
Выйди на улицу
И убей!

2 апреля.

Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. Снег размок и за городом пахнет весной – крепкой сыростью леса. Вечерами еще мороз, а в полдень скользко и каплет с крыш.

Прошлой весной я был на юге. Ночи – ни зги, только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю. В лесу цветет вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утес. Надо мной раскаленное солнце, внизу – прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг – нет меня, нет моря, нет солнца, нет леса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, одна бесконечная и благословенная жизнь.

А теперь?

Один мой знакомый, бельгийский офицер, рассказывал мне о своей службе в Конго. Он был один, и у него было пятьдесят черных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки, в девственном лесу, где солнце не жжет и бродит желтая лихорадка. По ту сторону жило племя независимых негров со своим царьком и со своими законами. День сме-

нялся ночью, и снова наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была все та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зеленые лианы, те же люди с черным телом и непонятным наречием. Иногда он от скуки брал ружье и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда черным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать его расстреливали, как мишень для стрельбы. И наоборот: когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку так, что торчала одна голова. А наутро рубили голову.

Я спрашиваю: чем белый человек отличается от черных? Чем мы отличаемся от него? Одно из двух: или «не убий», и тогда мы такие же разбойники, как другие. А если «око за око и зуб за зуб», то к чему оправдания? Я так хочу и так делаю. Уж не скрыта ли здесь трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что иные скажут – убийца, когда теперь говорят – герой? Но на что мне чужое мнение?

Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в ее крови. А Ваня идет, будет счастлив и свят. Будет ли? Он говорит: во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес в третий день? Все это слова... Нет, -

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха, —

Выйди на улицу
И убей!

6 апреля.

Прошла Страстная неделя. Сегодня веселый перезвон: Пасха. Ночью радостный крестный ход, слава Христу. А с утра весь город на гулянье, яблоку негде упасть. Бабы в белых платочках, солдаты, оборванцы, гимназисты. Целуются, шелкают семечки, зубоскалят. На лотках красные яйца, пряники, американские черти, на ленточках разноцветные пузыри. Люди словно пчелы в улье. Гомон и шум.

В детстве говеешь еще на шестой. Пост всю неделю, до причастия ни маковой росинки во рту. На Страстной неистово бьешь поклоны, к плащанице всем телом прильнешь: Господи, прости мне мои прегрешения. У заутрени как в раю: свечи ярко горят, воском пахнет, ризы белые, киот золотой. Стоишь, не вздохнешь – скоро ли домой со святым куличом пойдешь? Дома праздник, великое торжество. Всю святую неделю праздник.

А сегодня мне все чужое. Томит колокольный звон, скучен смех. Уйти бы куда глаза глядят, не вернуться.

– Барин, купите счастье, – сует мне девчонка конверт.

Девчонка босоногая, рваная, какая-то вся непраздничная. На клочке серой бумаги напечатано предсказание:

«Если тебя преследуют неудачи, не теряй надежды и не предавайся отчаянию. Труднейшее преодолеешь

и повернешь наконец к себе колесо фортуны. Твое предприятие окончится полным успехом, которого даже не смеешь ожидать».

Вот и яичко на красный день.

7 апреля.

Ваня живет на постоялом дворе, в артели. Он спит со всеми вповалку на нарах. Ест из котла. Сам чистит лошадь, может пролетку. Днем – на улице, на работе. Он не жалуется, доволен.

Сегодня он в новой поддевке, волосы смазаны маслом, сапоги у него со скрипом.

Он говорит:

– Вот и Пасха пришла. Хорошо... Жорж, ведь Христос-то воскрес.

– Ну так что ж, что воскрес?

– Эх ты... Радости в тебе нет. Мира ты не приемлешь.

– А ты приемлешь?

– Я? Я – дело другое. Мне тебя, Жоржик, жалко.

– Жалко?

– Ну да. Никого ты не любишь. Даже себя. Знаешь, есть у нас на дворе извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый. Зол как черт. Был он когда-то богат, потом погорел: подожгли. Простить до сих пор не может. Всех проклиняет: Бога, студентов, купцов, даже детей. И тех ненавидит. Сукины дети все, говорит, и все подлецы. Кровь христианскую пьют,

а Бог с небес радуется... Давеча прихожу из чайной на двор, гляжу: посреди двора Тихон стоит. Ноги расставил, рукава засучил, кулачищи у него громадные, – и лошаденку свою вожжей по глазам хлещет. Лошаденка-то хилая, еле дышит, морду в гору дерет. А он ее по глазам, по глазам. Стерва, хрипит, сволочь проклятая, я тебе покажу, я тебя научу... За что, говорю, Тихон, бьешь животину? Молчи, кричит, хлюст паршивый... И давай хлестать еще свирепее. На дворе грязь, вонь, конский навоз, а наши повылезали, смеются: Тихон, мол, балует... Так и ты, Жоржик, всех бы ты вожжей по глазам... Эх ты, бедняга.

Он скусывает кусочек сахара, долго пьет чай, потом говорит:

– Не сердись. И не смейся. Вот я думаю. Знаешь, о чем? Ведь мы нищие духом. Чем, милый, живем? Ведь голой ненавистью живем. Любить-то мы не умеем. Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего? Ты скажи. Нет, ты скажи.

Я пожимаю плечами:

– Спроси Генриха, Ваня.

– Генриха? Генрих верит, что люди будут свободны и сыты. Но ведь это же все для Марфы, а что для Марии?* За свободу можно, конечно, жизнь отдать. Что за свободу? За слезу одну можно. Я молюсь: пусть не будет рабов, пусть не будет голодных. Но ведь это же, Жоржик, не все. Мы знаем, мир неправдой живет. Где же правда, скажи?

– Что есть истина? Да?

– Да, что есть истина. А помнишь: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего».

– Ваня, Христос сказал: не убий.

– Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи: Европа два великих слова миру сказала, два великих слова своею мукой запечатлела. Первое слово: свобода, второе слово: социализм. Ну а мы что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему, социализм – рай на земле? Ну а за любовь, во имя любви кто-нибудь на костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать: мало еще, чтобы люди были свободны, мало еще, чтобы с голоду дети не умирали, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Бога-то, про любовь забыли. А ведь в Марфе одна половина правды, другая – в Марии. Где же наша Мария? Слушай, я верю: вот идет дело крестьянское, христианское, Христово. Во имя Бога, во имя любви. И будут люди свободны и сыты и в любви будут жить. Верю: наш народ, народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. Наше слово – воскресшее слово: ей, гряди, Господи!.. Маловеры мы и слабы, как дети, мы поэтому поднимаем меч. Не от силы своей поднимаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем. А вну-

ки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим. А сегодня, Жоржик, Христос воскрес, святая Пасха. Ну так в этот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам...

Он задумчиво умолкает.

– Что ты, Ваня? О чем?

– Да вот, слушай: цепь неразрывна. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово верю, поклоняюсь Христу. Больно мне, больно...

В трактире пьяный гул. Люди справляют праздник. Ваня склонился над скатертью, ждет. Что я могу ему дать? Разве вожжей по глазам?...

8 апреля.

Я опять с Ваней. Он говорит:

– Знаешь, когда я Христа узнал? в первый раз Бога увидел? Был я в Сибири, в ссылке. Пошел я раз на охоту. В Обской губе дело было. Обь-то у океана – море. Небо низкое, серое, река тоже серая, серые гребни волн, а берегов не видеть, будто вовсе их нет. Высадили меня из лодки на остров. Сговорились: к вечеру, мол, за тобой приедем. Ну, брожу я, уток стреляю. Кругом болото, березки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, шел, от края совсем отбился. Утку одну пристрелил, запала, найти не могу. Ищу между кочек. А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно. Вот решил я к берегу добираться. Кое-как по ветру взял направ-

ление, иду. Шагнул: чувствую, ноги вязнут. Я было на кочку хотел, нет, – тону в болотной трясине. Знаешь, медленно так тону, на полвершочка в минуту. Сиверко, дождь пошел. Дернул я ногу, не выдернул, хуже: еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье, стал с отчаянья в воздух стрелять. Авось услышат, авось помогут, придут. Нет, тишина, только, слышу, ветер свистит. Вот стою я так, почти по колено в тине. Думаю: в болоте завязну, пузыри надо мною пойдут, как прежде одни зеленые кочки. Противно мне стало, до слез. Рванул опять ногу – еще того хуже. Оледенел я весь, как осина дрожу: вот он какой конец, на краю света, как муха... И знаешь, в сердце как-то все опустело. Все – все равно: погибать. Закусил я губы до крови, из последних сил рванул в третий раз. Чувствую – выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Гляжу, бродень в болоте увяз, нога вся в крови. Кое-как я на кочку одною ногою ступил, ружьем оперся, другую ногу тяну. Ну, как стал обеими ногами, боюсь шелохнуться. Думаю: шаг ступлю – значит, обратно в трясину. Так всю ночь до рассвета на одном месте и простоял, и сеял дождь, и небо было темное, и ветер выл, в эту-то ночь я и понял, знаешь, всем сердцем, до конца понял: Бог над нами и с нами. И не страшно мне было, а радостно, с сердца камень упал. А утром товарищи подошли, подобрали меня.

– Перед смертью многие Бога видят. Это от страха, Ваня.

– От страха? Что ж, может быть. Только что же ты думаешь? Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может? Пе-

ред смертью душа напрягается, пределы видны. Вот почему и Бога люди чаще всего перед смертью видят. Увидел и я.

– Слушай дальше, – продолжает он, помолчав, – великое счастье Бога увидеть. Пока не знаешь Его, не думаешь о Нем вовсе. Обо всем думаешь, а о Нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится. Ты подумай только: сверхчеловек. И ведь верят: философский камень нашли, разгадку жизни. А по моему, смердяковщина это. Я, мол, ближних любить не могу, а люблю зато дальних. Как же дальних можешь любить, если нет в тебе любви к тому, что кругом? Знаешь, легко умереть за других, смерть свою людям отдать. Жизнь – вот отдать труднее. Изю дня в день, из минуты в минуту. Жить любовью, Божьей любовью к людям, ко всему, что живет. Забывать о себе, не для себя строить жизнь, не для дальних каких-то. Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть: мечутся люди, ищут, верят в китайских божков, в деревянных чурбанов, а в Бога верить не могут, а Христа любить не хотят. Яд в нас с детства горит. Вот Генрих не скажет: цветок; говорит – семьи такой-то, вида такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то. За этим сором он цветка не увидел. Так и Бога за сором не видим. Все по арифметике да по разуму. А вот там, когда я под дождем на болотной кочке стоял, смерти своей дожидался, там я понял: кроме разума есть еще что-то, да шоры у нас на глазах, да не видим, не знаем. Ты, Жоржик, чего смеешься?

– Да ведь ты словно поп приходской.

- Ну пусть поп. А ты мне скажи, – можно жить без любви?
– Конечно, можно.
– Как же? Как?
– Да плевать на весь мир.
– Шутишь, Жорж?
– Нет. Не шучу.
– Бедный, Жоржик, ты бедный...
Я прощаюсь с ним. Я опять забываю его слова.

10 апреля.

Сегодня видел губернатора. Высокий, благообразный старик, в очках, с подстриженными усами.

На площади, вчера белой, сегодня мокрые камни. Лед стал, и река ярко блестит на солнце. Чирикают воробьи.

У подъезда карета. Я сразу узнал ее: черные кони, желтые спицы колес. Я пересек площадь и пошел к дому. В это время дверь распахнулась, городской отдал честь. С лестницы медленно спустился губернатор. Я прирос к мостовой. Не отрываясь смотрел на него. Он поднял голову и взглянул на меня. Я снял шляпу. Я низко опустил ее перед ним. Он улыбнулся и приложил руку к фуражке. Он поклонился мне.

В эту минуту я ненавидал его.

Я побрел в сад. Ноги вязли в размытой глине дорожек. В березах шумно летали галки.

12 апреля.

В свободные часы я ухожу в библиотеку. В тихом зале стриженные курсистки, бородатые студенты. Я резко отличаюсь от них своим бритым лицом и высоким воротником.

Со вниманием читаю древних. У них не было совести, они не искали правды. Они попросту жили. Как трава растет, как птицы поют. Может быть, в этой святой простоте – ключ к приятию мира.

Афина говорит Одиссею:

Буду стоять за тебя и теперь я, не будешь оставлен
Мной и тогда, как приступим мы к делу. И думаю, скоро
Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом
Многих из тех, незаконных, твое достоянье губящих.

Какому богу мне молиться, чтобы он не оставил меня? Где моя защита и кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня защиты, я сам себе покровитель. И если нет у меня бога, я сам себе бог. Ваня говорит: «Если все позволено, тогда – Смердяков». А чем Смердяков хуже других? И почему нужно бояться Смердякова?

Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и
мозгом...

Пусть обрызжется. Я ничего против этого не имею.

13 апреля.

Эрна мне говорит:

– Мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты грезился мне во сне. Я о тебе молилась.

– Эрна, а наше дело?

– Мы вместе умрем... Слушай, милый, когда я с тобой – мне кажется, что я маленькая девочка, еще ребенок. Я знаю: я ничего не могу дать тебе. Но у меня есть любовь. Возьми же ее.

И она плачет.

– Эрна, не плачь.

– Я от радости... Видишь, я не плачу уже. Знаешь, я хотела тебе сказать... Генрих...

– Что Генрих?

– Ты только не сердись... Генрих мне вчера сказал, что любит меня.

– Ну?

– Ну, я же не люблю его. Я люблю только тебя. Ты не ревнуешь, милый? – шепчет она мне на ухо.

– Ревную? Я?

– Ты не ревнуй. Я не люблю его вовсе. Но он такой несчастный, и мне так больно было, когда он сказал... И еще: мне казалось, что я не должна его слушать, что это измена тебе.

– Измена мне, Эрна?

– Милый, я так люблю тебя, и мне так жалко было его. Я ему сказала, что я ему друг. Ты не сердись? Нет?

– Будь покойна, Эрна. Я не сержусь и не ревную.

Она обиженно опускает глаза:

– Тебе все равно? Скажи, ведь тебе все равно?

– Слушай, – говорю я, – есть женщины – верные жены, и страстные любовницы, и тихие друзья. Но все они вместе не стоят одной: женщины-царицы. Она не отдает свое сердце. Она дарит любовь.

Эрна испуганно слушает. Потом говорит:

– Так ты меня не любишь совсем?

Я целую ее в ответ. Она прячет лицо на моей груди и шепчет:

– Ведь мы вместе умрем? Да?

– Может быть.

Она засыпает у меня на руках.

15 апреля.

Я сажусь к Генриху в пролетку.

– Ну что, как дела?

– Да что, – качает он головой, – нелегко: целый день под дождем, на козлах.

Я говорю:

– Нелегко, когда человек влюблен.

– Откуда вы знаете? – быстро оборачивается он ко мне.

– Что знаю? Я ничего не знаю. И ничего знать не хочу.

– Вы, Жорж, все смеетесь.

– Я не смеюсь.

Вот и парк. С мокрых сучьев на нас летят разноцветные брызги. Кое-где уже юная зелень травы.

– Жорж.

– Ну?

– Жорж, ведь при изготовлении бывают иногда взрывы?

– Бывают.

– Значит, Эрну может взорвать?

– Может.

– Жорж?

– Ну?

– Почему вы поручаете ей?

– Ее специальность.

– Специальность?

– Да.

– А кому-нибудь другому нельзя?

– Нельзя... Да вы чего беспокоитесь?

– Нет... Я так... Ничего... К слову пришлось.

Он поворачивает обратно. На полдороге опять окликает

меня:

– Жорж?

– Ну?

– А скоро?

– Думаю, скоро.

– Как скоро?

– Недели две, три еще.

– А выписать вместо Эрны нельзя никого?

– Нет.

Он ежится в своем синем халате, но молчит.

– Прощайте, Генрих. Бодритесь.

– Бодрюсь.

– И, право, не думайте ни о ком.

– Знаю. Не говорите. Прощайте.

Он медленно отъезжает. На этот раз я долго смотрю ему вслед.

16 апреля.

Я спрашиваю себя: неужели я все еще люблю Елену? Или я люблю только тень – мою прежнюю любовь к ней? Может быть, Ваня прав и я не люблю никого, и не могу и не умею любить. Может быть, и не стоит любить.

Генрих любит Эрну и будет любить только ее, и всю жизнь. Но любовь для него источник не радости, а муки. А моя любовь – радость?

Я опять в своей комнате, в скучном номере скучной гостиницы. Сотни людей живут под одной крышей со мною. Я им чужой. Я чужой в этом каменном городе, может быть, в целом мире. Эрна отдает мне себя, всю себя без оглядки. А я не хочу ее и отвечаю – чем? Дружбой? Не ложью ли? Глупо думать о Елене, глупо целовать Эрну. Но я думаю о первой и целую вторую. Да и не все ли равно?

18 апреля.

Губернатор переехал назад, в город. Наши планы опять разбиты. Нужно начать наблюдение сначала. Это труднее здесь. Кругом бессменная цепь часовых, на площади и в во-

ротах шпионы. Каждый прохожий у них на примете. Каждый извозчик на подозрении.

Конечно, не знают, где мы и кто мы. Но уже ходит молва.

Вчера в трактире я услышал такой разговор. Разговаривали двое: один по виду приказчик, другой, должно быть, его подручный, мальчишка лет восемнадцати.

– Это уж как от Бога кому, – наставительно говорит приказчик, – одному, значит, одно, другому – другое. Приходит, слышь, барышня, при прощении. Допустили. Стал он прощение читать. Покуда читал, она револьвер вынула и давай в него пули садить. Четыре пули ему всадила.

Мальчишка всплескивает руками:

– Ах ты... Что ж, помер?

– Какой...

– Ну?

– Повесили ее, значит. По времени приходит другая.

Опять при прощении.

– Неужто ж допустили?

– Нет. Она было то, се, десятое, пятое. Однако обыскали в прихожей. Глядят, в косе револьвер. Это значит, Бог спас.

– Ну?

– Повесили, значит, ее. Только что же ты думаешь? – Рассказчик изумленно разводит руками. – По времени, гуляет он у себя в саду, по дорожке. Стража при нем. Вдруг, откуда бы ни возмись, выстрел. Прямо в сердце пуля пронзила. Ахнуть едва успел.

– Язвите... Вот так раз.

– Да-а... Опять, значит, повесили, а он все-таки помер. Так уж положено ему было. Судьба.

20 апреля.

Вчера наконец я встретил Елену. Я не думал о ней, я почти забыл, что она здесь. Я шел по улице и вдруг услышал чей-то зов. Я обернулся. Передо мною была Елена. Я увидел ее громадные серые глаза, пряди ее черных волос. Мы идем с нею рядом. Она с улыбкою говорит:

– Вы забыли меня.

Нам в лицо бьет сноп яркого вечернего солнца. В его лучах тонет улица, золотом горит мостовая. Я краснею, как мак. Я говорю:

– Нет. Я не забыл.

Она берет меня под руку и говорит тихо:

– Вы надолго?

– Не знаю.

– Что вы здесь делаете?

– Не знаю.

– Не знаете?

– Нет.

Она вспыхивает густым румянцем.

– А я знаю. Я вам скажу.

– Скажите.

– Вы...

– Может быть.

Вечерний луч догорел. На улице прохладно и серо.

Я хочу ей много сказать. Но я забыл все слова. Я говорю

только:

– Почему вы здесь?

– Муж служит.

– Муж?

Я вспоминаю вдруг про этого мужа. Я ведь встретил его.

Да, конечно, у нее есть муж.

– Прощайте, – говорю я, неловко протягивая ей руку.

– Вы спешите?

– Да, я спешу.

– Оставайтесь.

Я смотрю ей в глаза. Они сияют любовью. Но я опять вспо-

минаю: муж.

– До свиданья.

Ночью темно и пусто. Я иду в Тиволи. Гремит оркестр,

бесстыдно смеются женщины. Я один.

25 апреля.

Губернатор уехал в Х... Я поехал за ним. Радостно встре-

чаю широкую воду, сияющие купола. Весна хороша здесь.

Она целомудренно-ясная, как девушка шестнадцати лет.

Губернатор отправился в здешний пригород. Я в том же

поезде, в вагоне первого класса. Входит нарядная дама. Она

роняет платок. Я поднимаю.

– Вы не русский? – говорит она по-французски, всматриваясь в меня.

– Я англичанин.

– Англичанин? Как ваше имя? Я знаю ваше имя.

Я колеблюсь минуту. Потом вынимаю карточку: Джордж О’Бриен, инженер, Лондон.

– Инженер... Как я рада... Приезжайте ко мне. Я буду вас ждать.

Вечером возвращаюсь.

На пригородном вокзале в буфете опять она: пьет чай с каким-то евреем. Он подозрителен... Я подхожу к ней:

– Счастлив встретиться снова!

Она смеется.

Мы гуляем с ней по платформе.

В вагоне кондуктор отбирает билеты. Она подает ему серый конверт. Я читаю внизу печатным курсивом: «Жандармское управление».

– У вас, вероятно, сезонный билет? – спрашиваю я ее.

Она густо краснеет:

– Нет, это так... Ничего... Это подарок. Ах, как я рада познакомиться с вами... Я так люблю англичан.

Свисток. Вокзал. Я кланяюсь ей и украдкой иду за ней следом.

Она входит в жандармскую комнату.

«Ага», – думаю я.

В гостинице решаю: или за мной следят, и тогда я, конеч-

но, погиб, или эта встреча – случайность, скучное совпадение. Хочу знать всю правду. Хочу проверить судьбу.

Я надеваю цилиндр. Беру лихача. Звоню по адресу у подъезда.

– Барышня дома?

– Пожалуйте.

Комната – бонбоньерка. В углу букет чайных роз: цветочное подношение. На столах и стенах портреты хозяйки. Во всех видах и позах.

– Ах, вы пришли... Как это мило... Садитесь.

Мы опять говорим по-французски. Я курю сигару, держу на коленях цилиндр.

– Нравятся вам русские дамы?

– Лучшие дамы в мире.

В двери стучат.

– Войдите.

Входят два господина, очень черных, очень усатых. Не то шулера, не то сутенеры. Мы жмем друг другу руки.

Все трое отходят к окну.

– Это кто? – слышу я шепот.

– Это? Ах, это инженер-англичанин, богатый. Ты говори, не стесняйся: он по-русски ни слова.

Я встаю:

– Жалею, что должен уйти. Честь имею кланяться.

Снова жму руки. А на улице смеюсь: слава Богу, я – англичанин.

26 апреля.

Губернатор едет обратно в Н. У меня до поезда целый день. Я брожу по городу без цели.

Вечереет. Над рекой пурпур зари. За рекой четкий шпиг пронзает небо.

У дубовых ворот трехцветная будка. За белой стеной темная пасть коридора. По каменным плитам эхо шагов. Мрак, решетка окон. Ночью трепетный бой курантов. Великая скорбь на всю землю.

Я вижу низкие бастионы, серые стены. Мало сил, мало сил... Но ведь день великого гнева придет...

Кто устоит в этот день?

28 апреля.

В парке еще свежо. Липы голые, но орешник уже оделся листвой. В зеленых кустах поют птицы.

Елена рвет, нагибаясь, цветы. Оборачивается ко мне и смеется:

– Как хорошо... Не правда ли, как сегодня радостно и светло?

Да, мне радостно и светло. Я смотрю ей в глаза, и мне хочется ей сказать, что в ней радость и что она – яркий свет. Я тоже невольно смеюсь.

– Как давно я не видела вас... Где вы были, где жили, что видели, что узнали?... Что вы думали обо мне?

И, не ожидая ответа, краснеет:

– Я так боялась за вас.

Я не запомню такого утра. Цветут ландыши, пахнет весной. В небе тают перистые облака, догоняя друг друга. В моей душе опять радость: она за меня боялась.

– Знаете, я живу и не замечаю жизни. Вот я смотрю на вас, и мне кажется: вы – не вы, а кто-то чужой и все-таки милый. Да, ведь вы мне чужой... Разве я знаю вас? Разве вы знаете меня? И не надо... Ничего не надо нам знать. Ведь нам и так хорошо?... Не правда ли – хорошо?

И, помолчав, говорит с улыбкой:

– Нет, скажите же мне, что вы делали, чем вы жили?

– Вы ведь знаете, чем я живу.

Она опускает глаза:

– Так правда?...

По ее лицу пробегает тень. Она взяла меня за руку и молчит.

– Слушайте, – говорит она наконец, – я ничего в этом не понимаю... Но, скажите, зачем? Зачем? Вот смотрите, как здесь хорошо: расцветает весна, поют птицы. А вы думаете о чем? Живете чем?... Смертью? Милый, зачем?

Я хочу ей сказать многое... Но почему-то не могу сказать никаких слов. Я знаю, что это только слова для нее, что она меня не поймет.

А она настойчиво повторяет:

– Милый, зачем?

На деревьях роса. Заденешь ветку плечом – брызнет дождь разноцветных капель. Я молчу.

– Не лучше ли жить, попросту жить?... Или я не поняла вас? Или так нужно... Нет, нет, – отвечает она себе, – так не нужно, не может быть нужно.

И я робко спрашиваю, как мальчик:

– Что же нужно, Елена?...

– Вы спрашиваете меня? Вы?... Разве я знаю? Разве я могу знать? Ничего я не знаю... Да и знать не хочу... А сегодня нам хорошо...

Вот она опять рвет со смехом цветы, а я думаю – скоро я снова буду один, и ее детский смех зазвучит не для меня – для другого.

Кровь бросается мне в лицо. Я говорю едва слышно:

– Елена.

– Что, милый?

– Вы спрашиваете меня, что я делал?... Я... я помнил о вас.

– Помнили обо мне?

– Да... вы ведь видите: я вас люблю...

Она опускает глаза.

– Не говорите мне так.

– Почему?

– Боже мой... Не говорите. Прощайте.

Она быстро уходит. И долго еще между белых берез мелькает ее черное платье.

29 апреля.

Я написал Елене письмо:

«Мне кажется, что я не видел вас долгие годы. Каждый час и каждую минуту я чувствую, что вас нет со мною. Днем и ночью, всегда и везде – вот я вижу ваши сияющие глаза.

Я верю в любовь, в свое право любить. В глубине моего сердца, на самом его дне, живет спокойная уверенность, предчувствие будущего. Так должно быть. Так будет.

Я люблю вас, и я счастлив. Будьте же счастливы любовью и вы».

Я получил короткий ответ:

«Завтра в парке, в шесть часов».

30 апреля.

Елена мне говорит:

– Я рада, я счастлива, что вы со мною... Но не говорите мне о любви.

Я молчу.

– Нет, обещайте: не говорите мне о любви... И не печальтесь, не думайте ни о чем.

– Я думал о вас.

– Обо мне?... Не думайте обо мне...

– Почему?

И я сам тотчас же отвечаю.

– Вы замужем? Муж? Честь мужа? Долг честной женщины? О, конечно, простите... Я осмелился говорить о своей любви, я осмелился просить вашей. Для добродетельных жен есть только домашний покой, чистые комнаты сердца. Простите.

– Как вам не стыдно?

– Нет, мне не стыдно. Я знаю: трагедия любви и долга. Трагедия любви и подвенечного платья, законного брака, законных супружеских поцелуев. Не мне стыдно, Елена, а вам.

– Молчите.

Несколько минут мы молча идем по узкой дорожке парка. На ее лице еще гнев.

– Слушайте, – поворачивается она ко мне, – неужели для вас есть закон?

– Не для меня, а для вас.

– Нет... А вот вы... Чем живете? Кровью. Зачем вы этим живете?

– Не знаю.

– Не знаете?

– Нет.

– Слушайте, ведь это закон... Вы сказали себе: так нужно.

Я говорю, помолчав:

– Нет. Я сказал: я хочу.

– Вы так хотите?

Она с изумлением смотрит мне прямо в глаза:

– Вы так хотите?

– Ну, да.

Вдруг она мягко кладет мне руки на плечи.

– Милый мой, Жорж.

И быстро, гибким движением целует меня прямо в губы. Долго и жарко. Я открываю глаза: ее уже нет. Где она? И не сон ли мне снился?

1 мая.

Сегодня 1 мая – праздник. Я люблю этот день. В нем много света и радости. Именно сегодня... Но сегодня я не видел губернатора.

Он стал осторожен. Он сидит дома, и мы напрасно следим за ним. Мы видим только сыщиков и солдат. И они видят нас. Я думаю поэтому прекратить наблюдение.

Узнал: 13-го он поедет в театр. Мы запрем все ворота. Ваня станет у одних, Федор у других, Генрих у третьих. И здесь будет наше терпение.

Я радуюсь заранее победе. Вижу темные своды церкви, зажженные свечи... Слышу пение молитв, душный ладан каддила...

5 мая.

Эти дни я как в лихорадке. Вся моя воля в одном желании. Каждый день я зорко смотрю: не следят ли за мной. Я боюсь, что мы посеем и не пожнем. Но я не сдамся живым.

Живу теперь в гостинице «Эдинбург». Вчера принесли

мне мой паспорт. Принесший топчется на пороге и говорит:

– Осмелюсь спросить, господин пристав спрашивают, какого вы изволите быть вероисповедания?

Странный вопрос. В паспорте сказано, что я лютеранин. Я, не поворачивая головы, говорю:

– Как?

– Какого исповедания-с? Веры какой-с?

Я беру в руки паспорт. Я громко читаю английский титул лорда Лансдоуна:

«We, Henry Charles Keith Petty Fitz Maurice Marquess of Lawdowne, Earl Wycombe»² и т. д.

Я не умею читать по-английски, произношу все буквы подряд.

Тот внимательно слушает.

– Понял?

– Так точно.

Я говорю с сильным акцентом:

– Иди к приставу, скажи: сейчас телеграмма посланнику.

Понял?

– Так точно.

Я стою спиной к нему, смотрю в окно, говорю очень громко:

– А теперь – пошел вон.

Он с поклоном уходит. Я остаюсь один. Неужели за мной

² «Мы, Генри Чарльз Кейс Петти Фитц Морис, маркиз Лоудаун, граф Викомб» (англ.). – Ред.

следят?

6 мая.

Мы встретились за городом, у полотна железной дороги: я, Ваня, Генрих и Федор. Они в сапогах бутылками, в картах: по-мужицки.

Я говорю:

– Тринадцатого губернатор поедет в театр. Нужно теперь же решить места. Кто будет первым?

Генрих волнуется:

– Первое место мне.

У Вани русые кудри, серые глаза, бледный лоб. Я вопросительно смотрю на него.

Генрих повторяет:

– Непременно мне, непременно.

Ваня ласково улыбается:

– Нет, Генрих, я жду очень давно. Не огорчайтесь: за мною право. За мною первое место.

Федор равнодушно пыхтит папиросой.

Я спрашиваю:

– Федор, а ты?

– Что ж, я всегда готов.

Все молчат.

По железнодорожному полотну выются тонкие рельсы. Столбы телеграфа уходят вдаль. Тихо. Только проволока гудит.

– Слушай, – говорит Ваня, – я вот о чем думал. Ведь легко ошибиться. Бросишь с рук – не всегда попадешь. Попадешь, например, в заднее колесо.

Генрих волнуется:

– Да, да... Как же быть?

Федор внимательно слушает. Ваня говорит:

– Я думал. Лучшее средство: кинуться под ноги лошадям.

– Ну?

– Ну, тогда наверное.

– И тебя тоже наверное.

– И меня.

Федор с презрением пожимает плечами:

– Не надо этого ничего. Подбежать к окну, да в стекло.

Вот и готово дело.

Я смотрю на них. Федор навзничь лежит на траве, и солнце жжет его смуглые щеки. Он жмурится: рад весне. Ваня, бледный, задумчиво смотрит вдаль. Генрих ходит взад и вперед и порывисто курит. Над нами синее небо.

– Я скажу, когда продавать пролетки. Федор оденется офицером, ты, Ваня, – швейцаром, вы, Генрих, останетесь мужиком, в поддевке.

Федор поворачивается ко мне. Он доволен. Смеется:

– Я, говоришь, его благородием... Ловко... Значит, без пяти минут барин.

Я жму им всем руки. На дороге меня догоняет Генрих:

– Жорж.

– Ну что?

– Жорж... Как же это... Как же Ваня пойдет?

– Так и пойдет.

– Значит, погибнет.

Он смотрит себе под ноги, на траву. На свежей траве следы наших ног.

– Я этого не могу, – говорит он глухо.

– Чего не могу?

– Да этого... Чтобы он шел...

Он останавливается. Он говорит быстро:

– Лучше я первый пойду. Я погибну. Как же так, если он?

Ведь его...

– Ну конечно.

– Нет, Жорж, слушайте, нет... Неужели его не будет? Вот мы спокойно решили, а от нашего решения Ваня наверное погибнет. Главное, что наверное. Нет, Бога ради, нет...

Он щиплет бородку. Руки его дрожат. Я говорю:

– Вот что, Генрих, одно из двух: или так, или этак. Или дело, и тогда оставьте все эти скучные разговоры, или разговаривайте и уйдите назад, в университет.

Он молчит. Я беру его под руку.

– Помните, Того своим японцам сказал: «Я жалею лишь об одном, что у меня нет детей, которые бы разделили с вами вашу участь». Ну и мы должны жалеть об одном, что не можем разделить участь Вани. И не о чем плакать.

Близко город. На солнце где-то искрятся стекла. Генрих

подымает глаза:

– Да, Жорж, вы правы.

Я смеюсь:

– И подождите еще: *suum cuique*.³

7 мая.

Эрна приходит ко мне, садится в угол и курит. Я не люблю, когда женщины курят. И мне хочется ей об этом сказать.

– Скоро, Жоржик? – спрашивает она.

– Скоро.

– Когда?

– Тринадцатого.

Она кутается в теплый платок. Видны только ее голубые глаза.

– Кто первый?

– Ваня.

– Ваня?

– Да, Ваня.

Мне неприятны ее большие руки, неприятен ласковый голос, неприятен румянец щек. Я отворачиваюсь.

Она долго курит. Потом встает и молча ходит по комнате. Смотрю на ее волосы. Они льняные и вьются на висках и на лбу. Неужели я мог ее целовать?

Она останавливается. Засматривает мне робко в глаза:

– Ведь ты веришь в удачу?

³ Каждому свое (*лат.*). – Ред.

– Конечно.

Она вздыхает:

– Дай Бог.

– А ты, Эрна, не веришь?

– Нет, верю.

Я говорю:

– Если не веришь – уйди.

– Что ты, Жоржик, милый. Я верю.

Я повторяю:

– Уйди.

– Жорж, что с тобою?

– Ах, ничего. И оставь меня ради Бога.

Она опять прячется в угол, снова кутается в платок. Не люблю этих женских платков. Молчу.

Тикают на камине часы. Я боюсь: я жду жалоб и слез.

– Жоржик.

– Что, Эрна?

– Нет. Ничего.

– Ну, так прощай. Я устал.

В дверях она шепчет грустно:

– Милый, прощай.

Ее плечи опущены, губы дрожат.

Мне ее жаль.

8 мая.

Говорят, где нет закона, нет и преступления. В чем же мое

преступление, если я целую Елену? В чем моя вина, если я не хочу больше Эрны? Я спрашиваю себя. Я не нахожу ответа.

Если бы у меня был закон, я бы не убивал, я, вероятно, не целовал бы Эрны, не искал бы Елены. Но в чем мой закон?

Говорят еще: нужно любить человека. А если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать. А если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя: «я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть». Где ступает ногой этот конь, там вянет трава, а где вянет трава, там нет жизни, значит, нет и закона. Ибо смерть – не закон.

9 мая.

Федор продал на Конной свой выезд. Он уже офицер, драгунский корнет. Звякают шпоры, звенит сабля по мостовой. В форме он выше ростом и походка у него увереннее и тверже.

Мы сидим с ним на пыльном кругу. Поют в оркестре смычки. Мелькают мундиры военных, белые туалеты дам. Солдаты отдают Федору честь.

Он говорит:

– Слышь, как по-твоему, сколько плачено за этот костюм?

Он тычет в нарядную даму за соседним столом.

Я пожимаю плечами:

– Не знаю. Рублей, вероятно, двести.

– Двести?

– Ну да.

Молчание.

– Слышь.

– Что?

– А я вот работал – целковый в день получал.

– Ну?

– Ну, ничего.

Вспыхивают электрические огни. Низко над нами сияет матовый шар. На белой скатерти синие тени.

– Слышь.

– Что, Федор?

– А что думаешь, если, к примеру, этих?

– Что этих?

– Ну, известно...

– Зачем?

– Чтобы знали.

– Что знали?

– Что рабочие люди как мухи мрут.

– Ну, Федор, это ведь... Мы не анархисты.

Он переспрашивает:

– Чего?

– Анархизм это, Федор.

– Анархизм?... Экое слово... Вот за этот костюм плачено двести рублей, а дети копеечку просят. Это как?

Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый околыш. Мне странно слышать эти слова.

Я говорю:

– Чего ты сердишься, Федор?

– Эх, нету правды на свете. Мы день-деньской на заводе, матери воют, сестры по улицам шляются... А эти... Двести рублей... Да... Всех бы их, безусловно.

Тонут во мраке кусты, жутко чернеет лес. Федор облокотился о стол и молчит. В его глазах злоба.

– Всех бы их, безусловно.

10 мая.

Осталось всего два дня. Через два дня...

Образ Елены заволокло туманом. Я закрываю глаза, хочу его воскресить. Знаю: у нее черные волосы и черные брови, у нее тонкие руки. Но я не вижу ее. Я вижу мертвую маску. И все-таки в душе живет тайная вера: она будет моею.

Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром. Сегодня трава умылась, расцветает сирень. На закате кукует кукушка. Но я не замечаю весны. Я почти забыл о Елене. Ну, пусть она любит мужа, пусть она не будет моею. Я один. Я останусь один.

Я так говорю себе. Но знаю: уйдут короткие дни и опять буду мыслью с нею. Жизнь замкнется в кованный круг. Если только уйдут эти дни...

Сегодня я шел по бульвару. Еще пахло дождем, но уже щебетали птицы. Справа на мокрой дорожке рядом со мной я заметил какого-то господина. Он еврей, в котелке, в длинном

желтом пальто. Он стал на углу и долго смотрел мне вслед.
Спрашиваю себя опять: не следят ли за мною?

11 мая.

Ваня все еще извозчик. Он по-праздничному пришел ко мне на свидание. Мы сидим на скамье, у собора, в сквере.

– Жоржик, вот и конец.

– Да, Ваня, конец.

– Как я рад. Знаешь, вся жизнь мне чудится сном. Будто я на то и родился, чтобы умереть и...

Белый храм уходит главами в небо. Внизу на солнце блещет река. Ваня спокоен. Он говорит:

– Трудно в чудо поверить. А если в чудо согласишься, то уже нет вопросов. Зачем насилие тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем «не убий»? А вот нету в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но слушай и сам скажи, сказка или нет. И быть может, вовсе не сказка, а правда. Ты слушай.

Он вынимает черное, в кожаном переплете Евангелие. На верхней крышке тисненый позолоченный крест.

«Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе.

Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?

Итак, отняли камень, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что Ты услы-

шал Меня.

Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон.

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет».

Ваня закрыл Евангелие. Я молчу. Он задумчиво повторяет:

– «Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе...»

В синем воздухе выются ласточки. За рекою в монастыре звонят к вечерне. Ваня вполголоса говорит:

– Слышишь, Жоржик, четыре дня...

– Ну?

– Великое чудо.

– И Серафим Саровский чудо?

Ваня не слышит.

– Жорж.

– Что, Ваня?

– Слушай.

«Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб.

И видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса.

Они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус.

Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: Господин! если Ты вынес Его, скажи мне, где Ты положил Его, и я возьму Его.

Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! что значит Учитель!»

Ваня умолк. Тихо.

– Слышал, Жорж?

– Слышал.

– Разве сказка? Скажи.

– Ты, Ваня, веришь?

Он говорит наизусть:

«Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: мир вам!

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри на руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои и не будь неверующим, но верующим.

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил потому, что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие».

– Да, Жорж, «блаженны не видевшие и уверовавшие».

Таает день, вечернею тянет прохладой. Ваня встряхивает кудрями.

– Ну, Жоржик, прощай. Навсегда прощай. И будь счастлив.

В его чистых глазах печаль. Я говорю:

– Ваня, а «не убий»?...

– Нет, Жоржик, – нет...

– Это ты говоришь?

– Да, я говорю. Чтобы потом не убивали. Чтобы потом люди по-божьи жили, чтобы любовь освящала мир.

– Это кощунство, Ваня.

– Знаю. А «не убий»?...

Он протягивает мне обе руки. Улыбается большой и светлой улыбкой. И вдруг целует крепко, как брат.

– Будь счастлив, Жоржик.

Я тоже целую его.

11 мая.

У меня было сегодня свидание с Федором в кондитерской. Мы сговаривались о подробностях.

Я первый вышел на улицу. У соседних ворот я заметил трех сыщиков. Я узнал их по быстрым глазам, по их напря-

женным взглядам. Я застыл у окна. Сам превратился в сыщика. Ищейкой следил за ними. Для нас они или нет?

Вот вышел Федор. Он спокойно пошел по улице. И сейчас же один из шпионов, высокий, рыжий, в белом фартуке и засаленном картузе, бросился на извозчика. Двое других побежали за ним бегом. Я хотел догнать Федора, остановить его. Но он взял случайного лихача. За ним помчалась вся свора – стая борзых. Я был уверен, что он погиб.

Я тоже был не один. Кругом какие-то странные люди. Вот человек в пальто с чужого плеча. Голова низко опущена, красные руки сложены на спине. Вот какой-то хромой в рваных заплатах, нищий с рынка. Вот мой недавний знакомый, еврей. Он в цилиндре, с черной подстриженной бородою. Я понял, что меня арестуют.

Бьет двенадцать часов. В час у меня свидание с Ваней в переулке. Ваня еще не продал пролетки. Он извозчик. Я втайне надеюсь, что он увезет меня.

Я иду на главную улицу. Хочу затеряться в толпе, утонуть в уличном море. Но опять впереди та же фигура: руки сложены на спине, ноги путаются в полах пальто. И опять рядом черный еврей в цилиндре. Я заметил: он не спускал с меня глаз.

Я свернул в переулок. Вани там нет. Я дошел до конца и повернул круто обратно. Чьи-то глаза гвоздями впились в меня. Кто-то зоркий следит, кто-то юркий не отстает ни на шаг.

Я опять на проспекте. Помню: там за углом Пассаж, двери в переулок. Я вбегаю, прячусь в воротах. Прижался спиной к стене и застыл. Длятся минуты – часы. Знаю: тут же рядом черный еврей. Он караулит. Он ждет. Он – кошка, я – мышь. До дверей четыре шага. И вдруг – одним прыжком я в переулке. Ваня медленно едет навстречу. Я бросаюсь к нему.

– Ваня, гони!

Стучат колеса по мостовой, на поворотах трещат рессоры. Мы сворачиваем за угол. Ваня хлещет свою лошадаенку. Я оборачиваюсь назад: пустой переулок коленом. Никого. Мы ушли.

Итак, нет колебаний: за нами следят. Но я не теряю надежды. А если это только случайное наблюдение? Если они не знают, кто мы? Если мы успеем закончить дело?

Но я вспоминаю: Федор. Что с ним? Не арестован ли он?

12 мая.

Федор ждет меня в ресторане. Я должен увидеть его. Если он окружен, дело погребло. Если ему удалось уйти, мы дотянем до завтра и завтра же победим.

Я за трактирным столом, у окна. Мне видна улица, виден городской в намокшем плаще, извозчик с поднятым верхом, зонтики редких прохожих. Дождь барабанит по стеклам, уныло струится с крыш. Серо и скучно.

Входит Федор. Звякают шпоры, он здоровается со мной. А на улице под дождем вырастают знакомые мне фигуры.

Двое, спрятав мокрые лица в воротники, караулят подъезд. С городовым на углу начеку еще двое. Один из них вчерашний хромой. Я ищу глазами еврея: вот, конечно, и он – под резным навесом ворот.

Я говорю:

– Федор, за нами следят.

– Чего ты?

– Следят.

– Не может этого быть.

Я беру его за рукав:

– Ну-ка, взгляни.

Он пристально смотрит в окно. Потом говорит:

– Глянь-ка, вон этот хромой, ишь, пес, как вымок... Да-а... Дела... Чего делать-то, Жорж?

Дом оцеплен. Нам едва ли уйти. Нас схватят на улице.

– Федор, револьвер готов?

– Восемь патронов.

– Ну, брат, идем.

Мы спускаемся с лестницы. Ливрейный швейцар почтительно распахнул перед нами дверь.

Мы идем плечо о плечо. Звеня, волочится сабля. Я знаю: Федор решился. Я решился давно.

Вдруг Федор локтем толкает меня. Он шепчет скороговоркой:

– Гляди, Жорж, гляди.

На углу одинокий лихач.

– Барин, вот резвая... Барин...

– Пять целковых на чай. Шевели.

Призовой рысак мчится крупной рысью. Нам в лицо летят комья грязи. Сетка дождя затянула небо. Где-то сзади слышно: держи!

От коня валит густой пар. Я трясую кучера за плечо:

– Эй, лихач, еще пять рублей.

В парке соскакиваем в кусты. Мокро. Брызжут деревья. Дождь размыл все дорожки. Мы бежим по лужам бегом.

– Федор, прощай. Уезжай сегодня же.

Его форменное пальто мелькнуло в зеленых кустах и скрылось. Под вечер я в городе. В гостиницу не вернусь. Дело погибло бесповоротно. А что с Ваней? С Генрихом? С Эрной?

У меня нет ночлега, и я долгую ночь брожу по улицам. Тает лениво время. До рассвета еще далеко. Я устал и продрог, и у меня болят ноги. Но в сердце надежда: упование мое со мною.

13 мая.

Я сегодня вызвал Елену запиской. Она пришла ко мне в городской сад. У нее сияющие глаза и черные кудри. Я говорю:

– Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть... Елена, скажите, и я брошу все. Я буду вашим слугою.

Она смотрит на меня улыбаясь. Потом задумчиво говорит:

– Нет.

Я наклонился к ней близко. Я шепотом говорю:

– Елена... Вы любите его?... Да?

Она молчит.

– Вы не любите меня, Елена?

Она вдруг сильным движением протягивает ко мне свои длинные, тонкие руки. Она обнимает меня. Она шепчет мне:

– Люблю, люблю. Люблю.

Я услышал ее слова, я почувствовал ее тело. Живая радость вспыхивает во мне, и я говорю с усилием:

– Я уезжаю, Елена.

Она бледнеет. Я смотрю ей прямо в глаза:

– Вот что, Елена. Вы не любите меня. Если бы вы любили, вы бы мучились мною. Вот за мною следят. Я на одном волоске. Но мне все равно: вы не любите меня.

Она переспрашивает с тревогой:

– Вы сказали: за вами следят?

Сухо шепчет вечерний ветер, пахнет дождем. В парке нет никого: мы одни. Я говорю громко:

– Да, следят.

– Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее...

Я смеюсь:

– И больше не возвращайтесь?

Она говорит:

– Я люблю вас, Жорж.

– Не смейтесь. Как смеете вы говорить о любви? Разве это любовь? Вы с мужем, я для вас чужой и разве любимый?

– Я люблю вас, Жорж.

– Любите?... Вы ведь с мужем.

– Ах, с мужем... Не говорите же про него.

– Вы любите его? Да?

Но она снова молчит.

Тогда я ей говорю:

– Слушайте, Елена, я люблю вас, и я вернусь. И вы будете моею. Да, вы будете моею.

– Милый, я с вами, я ваша...

– И его? Да, – и его?

Я ухожу. Гаснет вечер. Желтым светом горят фонари. Гнев душит меня. Я говорю себе: его и моя, моя и его. И его, и его, и его.

15 мая.

Сегодня в газетах напечатано, что «было обнаружено приготовление к покушению на жизнь губернатора», что «благодаря своевременно принятым мерам преступной шайке не удалось привести свой злодейский умысел в исполнение, члены же ее скрылись и до сих пор не задержаны. К розыску их также приняты меры».

«Приняты меры». Разве мы не приняли своих? Победа не за нами, но в этом ли поражение? Федор, Эрн и Генрих уже

уехали, Ваня и я уезжаем сегодня. Мы вернемся обратно.

II

4 июля.

Прошло шесть недель, я снова в N. Это время я прожил в старой дворянской усадьбе. От белых ворот – лента дороги: зеленый большак с молодыми березками по краям. Справа и слева желтеют поля. Шепчет рожь, гнется овес махровой головкой. В полдень, в зной, я ложусь на мягкую землю. Ратью стоят колосья, алеет мак. Пахнет кашкой, душистым горошком. Лениво тают облака. Лениво в облаках парит ястреб. Плавно взмахнет крыльями и замрет. С ним замрет и весь мир: зной и черная точка вверху.

Я слежу за ним прилежным глазом. И мне приходит на память:

...Всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.

А в городе едкая пыль и смрад. По пыльным улицам тащатся вереницы ломовиков. Тяжело грохочут колеса. Тяжело везут тяжелые кони. Стучат пролетки. Ноют шарманки. Звонко звонят звонки конок. Ругань и крик.

Я жду ночи. Ночью город уснет, утихнет людская зыбь. И

в ночи опять заблещет надежда:

Я дам тебе звезду утреннюю.

6 июля.

Я больше не англичанин. Я купеческий сын Фрол Семенов Титов, лесной торговец с Урала. Стою в дрянных номерах и по воскресеньям хожу к обедне в приходскую церковь. Самый опытный глаз не узнает во мне Джорджа О'Бриена.

В моей комнате на столе грязная скатерть, у стола хромоногий стул. На подоконнике – куст увядшей герани, на стене – портреты царей. Утром шипит нечищенный самовар, хлопают в коридоре двери. Я один в своей клетке.

Наша первая неудача родила во мне злобу, и злоба владеет мною. Я живу нераздельно с ним, с губернатором. Ночью я не смыкаю глаз: шепчу его имя, утром – первая мысль о нем. Вот он, седой старик с бледной улыбкой на бескровных губах. Он презирает нас.

Я ненавижу его белый дом, его кучера, его охрану, его карету, его коней. Я ненавижу его золотые очки, его стальные глаза, его впалые щеки, его осанку, его голос, его походку. Я ненавижу его желания, его мысли, его молитвы, его праздную жизнь, его сытых и чистых детей. Я ненавижу его самого – его веру в себя, его ненависть к нам. Я ненавижу его.

Уже приехали Эрн и Генрих. Я жду Ваню и Федора. В городе тихо, о нас забыли. 15-го он поедет в театр. Мы достигнем его на дороге.

Снова приехал Андрей Петрович. Я вижу его лимонного

цвета лицо, седую бородку клином. Он в смущении мешает ложечкой чай.

– Читали, Жорж?

– Читал.

– Да-а... Вот вам и конституция...

На нем черный галстук, старомодный грязный сюртук.

Грошова сигара в зубах.

– Жорж, как дела?

– Какие дела?

– Да вот... мало ли...

– Дела идут по-хорошему.

– Что-то уж очень долго. Теперь бы вот... Самое время...

– Если долго, Андрей Петрович, поторопитесь.

Он сконфузился – барабанил пальцами по столу.

– Слушайте, Жорж.

– Ну?

– Комитет постановил усилить.

– Ну?

– Я говорю: решено ввиду данных обстоятельств усилить.

Я молчу. Мы сидим в грязном трактире «Прогресс».

Хрипло гудит машина. В синем дыму белеют фартуки половых.

Андрей Петрович ласково говорит:

– Скажите, Жорж, вы довольны?

– Чем доволен, Андрей Петрович?

– Да вот... усилением.

– Чего?

– Боже мой... Я же вам говорю.

Он искренно рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь:

– Усилением? Что ж. Дай Бог.

– А вы что думаете об этом?

– Я? Ничего.

– Как – ничего?

Я встаю.

– Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать ничего не берусь.

– Но почему же, Жорж? Почему?

– Попробуйте сами.

Он в изумлении разводит руками. У него сухие желтые руки и пальцы прокопчены табаком.

– Жорж, вы смеетесь?

– Нет, не смеюсь.

Я ухожу. Он, наверное, долго сидит за стаканом чая, решает вопрос: не смеялся ли я над ним и не обидел ли он меня. А я опять говорю себе: бедный старик, бедный взрослый ребенок.

11 июля.

Ваня и Федор уже здесь. Я подробно условился с ними. План остается тот же. Через три дня, 15-го июля, губернатор поедет в театр.

В семь часов Эрна отдаст мне снаряды. Она приготовит их

в гостинице, у себя. Она высушит на горелке ртуть, запаяет стеклянные трубки, вставит запал. Она работает хорошо. Я не боюсь случайностей.

В восемь часов я раздам снаряды. Ваня станет у одних ворот, Федор у других. Генрих у третьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.

14 июля.

Помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбацьем поселке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Все кругом мне чужое. И небо, и море, и скалы, и ворвань, и эти хмурые люди и их странный язык. Я потерял самого себя. Я сам себе был чужой.

И сегодня мне все чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свилят в оркестре флейты. На освещенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются вверх, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них – на их упругое и крепкое тело. Что я им и что они мне?... А мимо скучно снует толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку,

скачая, ругаются, скачая, смеются. Женщины жадно ищут глазами.

Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встает четкая мысль. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть – венец, и смерть – терновый венец.

Вчера с утра было душно. В парке хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Черная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, за клубилась желтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнем, сверкнула первая молния.

В семь часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней зеленая юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках – большая корзина с бельем.

Я бережно кладу то, что она принесла, в портфель. Тяжелый портфель больно тянет мне руку.

Эрна вздыхает.

– Устала?

– Нет, ничего, Жоржик...

– Ну?

– Жоржик, можно мне с вами?

– Эрна, нельзя.

– Жорж, милый...

– Нельзя.

В ее глазах несмелая просьба. Я говорю:

– Иди к себе. В 12 часов приходи на это же место.

– Жорж...

– Эрна, пора.

Еще мокро, дрожат березы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.

Ровно в восемь часов все на своих местах. Я брожу около. Жду, когда подадут карету...

Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Черные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты... Губернатор уже у третьих ворот...

Я жду.

Идут минуты, идут дни, идут долгие годы.

Я жду.

Тьма еще гуще, площадь еще чернее, башни выше, тишина глубже.

Я жду.

Снова поют куранты.

Я побрел к третьим воротам. Вот Генрих. Он в синей поддевке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту.

– Генрих.

– Жорж, это вы?

– Генрих, проехал.

– Где?... Кто проехал?

– Губернатор проехал... Мимо вас.

– Мимо меня?

Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.

– Мимо меня?

– Где вы были? Да, где вы были?

– Где?... Я был здесь... У ворот...

– И не видели?

– Нет...

Над нами тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя.

– Жорж.

– Ну?

– Я не могу... уроню... Возьмите... скорее...

Мы стоим под газовым фонарем и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.

– До завтра.

Он в отчаянии машет рукой.

– До завтра.

Я ушел к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Я один в темноте.

17 июля.

Генрих, взволнованный, говорит:

– Я сначала стоял у самых ворот... Минут десять стоял...

Потом вижу: заметили. Я пошел по улице... Вернулся обратно. Постоял. Губернатора нет... Снова пошел... Вот тут он, наверное, и проехал.

Он закрывает руками лицо:

– Какой позор... Какой стыд...

Он не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень, на щеках багровые пятна.

– Жорж, вы ведь верите мне?

– Верю.

Пауза. Я говорю:

– Слушайте, Генрих, зачем вы идете? Я бы на вашем месте оставался в мирной работе.

– Я не могу.

– Почему?

– Ах, почему?... Нужно это или нет? Ведь нужно...

– Ну так что ж, что нужно?

– Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти?...

Ведь нельзя же говорить, а самому не делать... Ведь нельзя же... Нельзя?

– Почему нельзя?

– Ах, почему?... Ну я не знаю, может быть, другие и могут... Я не могу...

Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне:

– Боже мой, Боже мой...

Молчание.

– Жорж, скажите прямо, верите вы мне или нет?

– Я сказал: я вам верю.

– И дадите мне... еще раз?

Я молчу.

Он медленно говорит:

– Нет, вы дадите...

Я молчу.

– Ну тогда... Тогда...

В его голосе страх. Я говорю:

– Успокойтесь, Генрих, вы получите все, что нужно.

И он шепчет:

– Спасибо.

Дома я спрашиваю себя: зачем он здесь? И чья в этом вина? Не моя ли?

18 июля.

Эрна жалуется. Она говорит:

– Когда же это все кончится, Жорж?... Когда?...

– Что кончится, Эрна?

– Я не могу жить убийством. Я не могу...

Мы сидим вчетвером в кабинете в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет матчш.

Жарко, но Эрна кутается в платок. Федор пьет пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец Федор сплевывает на пол и говорит:

– Поспешись – людей насмешишь... Вишь дьявол Генрих: из-за него теперь остановка.

Ваня подымает глаза:

– Федор, не стыдно тебе? Зачем?... Не виноват Генрих ни в чем. Мы все виноваты.

– Ну уж и все... А по мне, назвался груздем – полезай в кузов...

Пауза. Эрна шепотом говорит:

– Ах Господи... Да не все ли равно, кто прав и кто виноват... Я не могу. Не могу.

Ваня нежно целует ей руку:

– Эрна, милая, вам тяжело... А Генриху? А ему?...

За стеной не умолкает матчиш. Пьяный голос поет куплеты.

– Ах, Ваня, что Генрих?... Я жить не могу...

И Эрна плачет навзрыд.

Федор нахмурился. Ваня умолк. А мне странно: к чему отчаяние и зачем утешение?

20 июля.

Я лежу с закрытыми глазами. В растворенное окно шумит улица, тяжело вздыхает каменный город. В полусне мне чудится Эрна.

Вот она заперла двери на ключ, глухо щелкнул замок. Она медленно подходит к столу, медленно зажигает огонь. На чугунной доске светло-серая пыль: гремучая ртуть. Тонкие синие язычки – змеиные жала – лижут железо. Сушится взрывчатый порошок. Трещи, поблескивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый грузик. Этот грузик разобьет запальную трубку. Тогда будет взрыв.

Один мой товарищ уже погиб на такой работе. В комна-

те нашли его труп, клочки его трупа: разбрызганный мозг, окровавленную грудь, разорванные ноги, руки. Навалили все это на телегу и повезли в участок. Эрнэ рискует тем же.

Ну а если ее в самом деле взорвет? Если вместо льняных волос и голубых удивленных глаз будет красное мясо?... Тогда Ваня приготовит. Он тоже химик. Он сумеет исполнить эту работу.

Я открываю глаза. Солнечный летний луч пробился сквозь занавеску, блестит на полу. Я забываюсь опять. И опять те же мысли. Почему Генрих не бросил?... Да, почему? Генрих не трус. Но ошибка хуже, чем страх. Или это случайность? Его величество случай?

Все равно. Все – все равно. Пусть моя вина в том, что Генрих с нами. Пусть его вина в том, что губернатор жив. Пусть Эрнэ взорвет. Пусть повесят Ваню и Федора. Губернатор все-таки будет убит. Я так хочу.

Я встаю. Внизу на площади под окном копошатся люди – черные муравьи. Каждый занят своей заботой, мелкой злобой дня. Я презираю их.

21 июля.

Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжелый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бульваре. По привычке считаю время. По привычке шепчу: я ее встречу сегодня.

Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается стран-

ный южный цветок. Растение тропиков – палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл багрово-красный, махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листья, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий запах. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.

Но я не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу помнить ее. Я весь в моей странной мести. И уже не спрашиваю себя, стоит ли мстить.

22 июля.

Он ездит два раза в неделю, от 3-х до 5-ти, к себе в канцелярию. Ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два займем все дороги. Ваня будет ждать его на Почтовой, в Кривом переулке – Федор; Генрих – в резерве: он станет в дальних улицах. На этот раз нас едва ли ждет неудача.

Что бы я делал, если бы не был в моем деле? Я не знаю. Не умею дать на это ответ. Но твердо знаю одно: не хочу мирной жизни.

Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя

жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И еще я могу сказать: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». Время жатвы тех, кто не с нами.

25 июля.

Я говорю Федору:

– Ты, Федор, займешь Кривой переулоч. Губернатор, должно быть, поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни: я уверен в тебе.

Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке министерства юстиции. Он гладко выбрит, и его черные усы закручены вверх.

– Ну, Жорж, будет им на орехи.

– Ты думаешь?

– Верно. Теперь не уйдет.

Мы в далеком конце города – в парке.

– Федор...

– Чего?

– Если будут судить, не забудь взять защитника.

– Защитника?

– Да.

– То есть это адвоката какого?

– Ну да, адвоката.

– Адвоката не надо. Не люблю я их, адвокатов этих...

– Как знаешь.

– Да и суда вовсе не будет... Ты думаешь, что? Не нужно мне этих судов... Последняя пуля в лоб – вот и готово дело.

И я по голосу знаю: да, действительно, последняя пуля в лоб.

27 июля.

Я иногда думаю о Ване, о его любви, о его исполненных верой словах. Я не верю в эти слова. Для меня они не хлеб насущный и даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в любовь, любить Бога, жить по любви. И если бы не Ваня говорил эти слова, я бы смеялся. Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя:

Д уховной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился...

И еще:

И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Ваня умрет. Его не будет. С ним погаснет и «уголь, пылающий огнем». А я спрашиваю себя: в чем же разница между

ним и, например, Федором? Оба убьют. Оба умрут. Обоих забудут. Разница не в делах, а в словах.

И когда я думаю так, то смеюсь.

29 июля.

Эрна говорит мне:

– Ты меня не любишь совсем... Ты забыл меня... Я чужая тебе.

Я говорю с неохотой:

– Да, ты мне чужая.

– Жорж...

– Что, Эрна?

– Не говори же так, Жорж.

Она не плачет. Она сегодня спокойна. Я говорю:

– О чем ты думаешь, Эрна? Разве время теперь? Смотри: неудача за неудачей.

Она шепотом повторяет:

– Да, неудача за неудачей.

– А ты хочешь любви? Во мне теперь нет любви.

– Ты любишь другую.

– Может быть.

– Нет, скажи.

– Я сказал давно: да, я люблю другую.

Она тянется всем телом ко мне:

– Все равно. Люби кого хочешь. Я не могу жить без тебя. Я всегда тебя буду любить.

Я смотрю в ее голубые опечаленные глаза.

– Эрна.

– Жорж, милый...

– Эрна, лучше уйди.

Она целует меня:

– Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. Только будь иногда со мною.

Над нами тихо падает ночь.

31 июля.

Я сказал: не хочу помнить Елену. И все-таки мои мысли с ней. Я не могу забыть ее глаз: в них полуденный свет. Я не могу забыть ее рук, ее длинных прозрачно-розовых пальцев. В глазах и руках душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души?... Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того? Я хочу ее, и нет ее лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви – ее красота и сила.

Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоенной росой земли встает мутный, молочно-белый туман. В его теплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса. Тускло мерцают звезды. Воздух густой и влажный и пахнет скошенным сеном. В такие ночи неслышно ходит над болотами Луговой. Он колдует.

Вот опять колдовство: что мне Елена, что мне ее беспечная жизнь, муж-офицер, ее будущее матери и жены? А между тем я скован с ней железною цепью. И нет силы порвать

эту цепь. Да и нужно ли рвать?

3 августа.

Завтра наш день. Опять Эрна, опять Федор, Ваня и Генрих... Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал: я боюсь о нем думать. Но я жду и верю в него.

5 августа.

Вот что было вчера.

В два часа я взял у Эрны снаряды. Простился с ней и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Федора. Федор занял Кривой переулок, Ваня – Почтовую, Генрих – дальние переулки.

Я зашел в кофейню, спросил себе стакан чаю и сел у окна. Было душно. По камням стучали колеса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть, пять минут. Помню: внезапно в звонкий шум улицы ворвался тяжелый, неожиданно странный и полный звук. Будто кто-то грузно ударил чугунным молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стекла. Потом все умолкло. На улице люди шумной толпой бежали вниз, в Кривой переулок. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал. Какая-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники. Мчались казаки. Где-то кто-то сказал: губернатор убит.

Я с трудом пробился через толпу. В переулке густым роем

толпились люди. Еще пахло горячим дымом. На камнях валялись осколки стекол, чернели раздробленные колеса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубахе. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг где-то справа, в другом переулке, отрывисто-сухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов, я знал: это стреляет Федор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятиях. Выстрелы затрещали снова, уже дальше, отрывистее и глуше. И опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое чахоточное лицо и сказал:

– Ишь ты, палит...

Я схватил его за руку и с силою оттолкнул. Но толпа еще теснее сомкнулась передо мною. Я видел чьи-то затылки, чьи-то бороды, чьи-то широкие спины. И вдруг услышал слова:

– Губернатор-то жив...

– А поймали?

– Не слышать, чтоб поймали...

– Поймают... Как не поймать?

– Да-да... Много их ноне... этих...

Поздно вечером я вернулся домой. Я помнил одно: губернатор жив.

6 августа.

Сегодня в газетах напечатано, что когда

«лошади губернатора поворачивали в Кривой переулок, на мостовую сошел молодой человек в форме чиновника министерства юстиции. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой.

Приблизившись к карете, он взял коробку в обе руки и бросил ее под колеса. Раздался оглушительный взрыв. К счастью, губернатор остался жив. Поднявшись без посторонней помощи с земли, он направился в подъезд ближайшего дома, где и оставался до прибытия вызванного по телефону конвоя. Губернаторский кучер получил тяжкие поранения головы. Он скончался по доставлении его в больницу. Преступник, совершив свое дело, бросился бежать. За ним погнались постовой городской и агент охранного отделения. Преступник на бегу двумя последовательными выстрелами убил обоих преследователей. Свернув на Почтовую, он пытался скрыться. Стоявший на посту городской сделал попытку его задержать, но был тяжело ранен пулею в область живота. На Почтовой преступник был остановлен приставом первого участка и дворниками. Убив двумя выстрелами двоих дворников, преступник скрылся во дворе дома № 3. Дом был немедленно оцеплен отрядами пешей и конной полиции и вызванною по телефону ротой N-ского полка. При обыске домовых помещений преступник был обнаружен в дальнем углу двора, за сложенными дровами. На предложение сдаться он ответил выстрелами, коими был убит наповал

подполковник. Тогда был открыт по преступнику беглый огонь. Преступник, скрываясь за дровами, некоторое время отвечал выстрелами из револьвера, причем были легко ранены двое рядовых и убит унтер-офицер. По прекращении обстрела проникшими за дрова гренадерами был обнаружен труп преступника с четырьмя огнестрельными ранами, из коих две были безусловно смертельны. Преступник – молодой человек, лет 26, брюнет, высокого роста и крепкого телосложения. При нем не найдено никаких документов, в карманах же брюк обнаружено два револьвера системы «Браунинг» и коробка с патронами к ним.

К установлению его личности приняты меры».

7 августа.

Я лежу ничком в горячих подушках. Светает. Чуть брезжит утренняя заря.

Вот, опять неудача. Хуже чем неудача, несчастье. Мы наголову разбиты. Федор сделал, конечно, что мог. Разве он пропустил карету?

Мне не жаль Федора, даже не жаль, что я не успел защитить его. Ну, я бы убил пять дворников и городских. Разве в этом мое желание?... Но мне жаль: я не знал, что губернатор в двух шагах от меня, в подъезде. Я бы дождался его.

Мы не уедем. Мы не сдадимся. Если нельзя на дороге, мы пойдем к нему. Он спокоен теперь: он торжествует победу. Нет заботы, нет страха. Но ведь будет наш день. И тогда –

совершится.

8 августа.

Генрих мне говорит:

– Жорж, все погибло.

Кровь заливает мне щеки.

– Молчать.

Он в испуге отступает на шаг:

– Жорж, что с вами?

– Молчать. Что за вздор? Ничего не погибло. Как вам не стыдно?

– А Федор?

– Что Федор?... Федор убит.

– Ах, Жорж... Ведь это... Ведь это...

– Ну... Дальше.

– Нет... Вы подумайте... Нет... Но мне казалось... Что же теперь?

– Как – что теперь?

– Нас ищут.

– Нас всегда ищут.

Сеет дождь. Плачет хмурое небо. Генрих промок, и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились.

– Жорж.

– Что?

– Поверьте... Я... я... хочу только сказать... Вот нас двое:

Ваня и я... Мало двоих.

– Нас трое.

– Кто же третий?

– Я. Вы забыли меня.

– Вы?

– Конечно.

Пауза.

– Жорж, на улице трудно.

– Что трудно?

– На улице трудно.

– Мы пойдем к нему.

– К нему?

– Ну да. Что же вас удивляет?

– Вы надеетесь, Жорж?

– Я уверен... Стыдно вам, Генрих.

Он растерянно жмет мою руку:

– Жорж, простите меня...

– Конечно... Но помните: если Федор убит, значит, черед за нами. Поняли? Да?

И он, взволнованный, шепчет:

– Да...

А мне на этот раз жаль, что Федора нет со мною.

9 августа.

Я забыл зажечь свечи. В моей комнате серая полутьма. В углу зыбкий силуэт Эрны.

Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит.

– Жорж...

– Что, Эрна?

– Это... это я виновата...

– В чем виновата?

– Что Федор...

Голос у ней глухой, и в нем сегодня нет слез.

– Ах, пустяки... Не мучь себя, Эрна.

– Нет, это я, это я, это я...

Я беру ее руку:

– Эрна, твоей вины нет. Я тебе говорю.

– Он бы, может быть, жил...

– Эрна, ведь это скучно...

Она встает, делает два шага. Потом тяжело садится опять.

Я говорю:

– Вот Генрих сказал, нужно оставить дело.

– Кто сказал?

– Генрих.

– Как оставить? Зачем?

– Спроси его, Эрна.

– Жорж, разве правда оставить?

– Ты так думаешь? Да?

– Нет, скажи ты.

– Ну конечно же, нет.

Она с тревогою говорит:

– А кто третий?

– Я, Эрна.

– Ты?

– Ну да. Я.

Она поникла, прижалась к окну. Смотрит в темную площадь. Потом вдруг быстро встает, подходит ко мне. Жарко целует в губы.

– Жорж, милый... Мы ведь вместе умрем?... Жорж?

Снова неслышно падает ночь.

11 августа.

Перед нами всего два пути. Первый путь: переждать несколько дней и опять подстеречь на дороге. Второй путь – идти к нему. Я знаю: нас ищут. Нам трудно прожить неделю в городе, еще труднее занять те же места. Ну, вместо Федора – я, Ваня опять там же, Генрих опять в резерве. Полиция теперь начеку. Улицы усеяны сыщиками. Они караулят нас. Они окружат, незаметно схватят. Да и поедет ли губернатор той же дорогой? Ведь ему легко сделать круг... Ну а если мы пойдем к нему? Мне, конечно, не жалко тех, кто умрет: погибнет семья, сыщики и конвой. Но опасно рискнуть. Дом велик, и в нем много комнат... Я колеблюсь. Я взвешиваю все «против» и «за». И я не знаю: пойдем ли мы? Трудно решить и нужно. Трудно знать и еще труднее узнать.

13 августа.

Ваня – барин: мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему выются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит:

– Жалко Федора, Жоржик.

– Да, жалко.

Он улыбается грустно:

– Да ведь тебе не Федора жалко.

– Как не Федора, Ваня?

– Ты ведь думаешь: товарища потерял. Ведь так? Скажи, так?

– Конечно.

– Ты думаешь: вот жил на свете деятель, настоящий деятель, бесстрашный... А теперь его нет. И еще думаешь: трудно, как быть без него?

– Конечно.

– Вот видишь... А про Федора ты забыл. Не жаль тебе Федора.

На бульваре играет военный оркестр. Воскресенье. В красных рубахах, с гармониками в руках, бродят мастера-вые. Говор и смех.

Ваня говорит:

– Слушай, я все о Федоре думал. Для меня ведь он не только товарищ, не только деятель... Ты подумай, что он чувствовал там, за дровами? Стрелял и знал, каждую каплею крови знал: смерть. Сколько времени он в глаза ее видел?

– Ваня, Федор не испугался.

– Жоржик, не то. Я не про то. Ну конечно, не испугался... А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он, раненый, бился? Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нем?

И я отвечаю:

– Нет, Ваня, не думал.

Он шепчет:

– Значит, ты и его не любил...

Тогда я говорю:

– Федор умер... Ты лучше вот что скажи: идти ли нам... туда, в дом?

– Идти ли в дом?

– Да.

– Это как?

– Ну, взорвать весь дом.

– А люди?

– Какие люди?

– Да семья его, дети.

– Вот ты о чем... Пустяки...

Ваня примолк.

– Жорж.

– Что?

– Я не согласен.

– Что – не согласен?

– Идти туда.

– Что за вздор?... Почему?

– Я не согласен... детей.

И потом говорит, волнуясь:

– Нет, Жорж, послушай меня: не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе?

Я холодно говорю:

– Я сам позволил себе.

– Ты?

– Да, я.

Он всем телом дрожит.

– Жорж, дети...

– Пусть дети.

– Жорж, а Христос?

– При чем тут Христос?

– Жорж, помнишь: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня: а если иной придет во имя свое, его примете».

– К чему, Ваня, тексты?

Он качает головой:

– Да, ни к чему...

Мы оба долго молчим. Наконец я говорю:

– Ну ладно... Будем на улице ждать.

Он весь светлеет улыбкой. Тогда я спрашиваю его:

– Ты, может быть, думаешь, я ради текстов?

– Нет, что ты, Жорж!

– Я решил: так риска меньше.

– Конечно, меньше, конечно... И вот увидишь: будет удача. Услышит Господь моления наши.

Я ухожу. Мне досадно: а все-таки не лучше ли туда?

15 августа.

Мои мысли опять с Еленой. Я спрашиваю себя: кто она? Почему она не ищет меня? Почему живет, ничего обо мне не зная? Значит, она не любит. Значит, она забыла. Значит, она, целуя, лгала. Но такие глаза не лгут.

Я не знаю. Я ничего не хочу узнать. Я видел радость ее любви, слышал счастливые слова. Я хочу ее, и я приду и возьму. Может быть, это даже не любовь. Может быть, завтра потухнут ее глаза и мне скучен будет ее любимый сегодня смех. Я сегодня люблю ее, и мне нет дела до завтра. Вот сейчас она стоит передо мною как живая: черные косы, строгий овал лица, на щеках робкий румянец. Я зову ее, я говорю себе ее имя. А ведь скоро наш, уже непременно последний, день...

Увижу я ее когда-нибудь или нет?

17 августа.

Завтра мы опять ждем губернатора на дороге. Если б я мог, я бы молился.

18 августа.

Эрна третий раз приготовила все. Ровно в три часа мы на своих местах. У меня в руках коробка. Когда я хожу, в

коробке мерно стучит.

Иду по левой стороне. В теплом воздухе осень. Я утром заметил: кое-где на березах уже желтые листья. По небу ползут тяжелые облака. Каплет редкими каплями дождь.

Я осторожен. Если случайно меня толкнут... По тротуарам и на углах много глаз. Делаю вид, что не вижу их.

Поворачиваю назад. Кругом тихо. Я боюсь, что именно теперь меня догонит губернатор... Я не узнаю его кареты, не сумею...

Так брожу я полчаса. Когда я подхожу в третий раз к углу площади, к будке с часами, я вижу: на улице, около дома Сурикова от земли взвился узкий смерч. Столб серо-желтого, по краям почти черного дыма. Он воронкой ширится вверх, затопляет улицу. В ту же минуту знакомый, страшный, чугунный гул. Лошадь извозчика на углу вздымается на дыбы. Передо мною дама в большой черной шляпе. Она ахнула и присела на тротуар. Городовой стоит секунду с бледным лицом и кидается туда.

Я бегу к дому Сурикова. Звенят стекла. Опять пахнет дымом. Я забываю про коробку, в ней стучит мерно и торопливо. Слышу крик и уже знаю, знаю наверно: он – убит...

...

А через час продают известия.

Я держу газетный листок, и у меня темнеет в глазах.

20 августа.

Ване удалось из тюрьмы передать письмо:

«Вопреки моему желанию я не был убит. Я бросил на расстоянии трех шагов с размаху прямо в окно кареты. Я видел лицо губернатора. Заметив меня, он откинулся вглубь и поднял руки, как для защиты. Я видел, как разбилась карета. В меня пахнуло дымом и щепками. Я упал на землю. Поднявшись, я осмотрелся. Шагах в пяти от меня лежали лоскутья платья и тут же рядом тело. Я не был ранен, хотя с лица струилась кровь и рукава моего пиджака обгорели. Я пошел. В это время сзади чьи-то руки крепко схватили меня. Я не сопротивлялся. Меня отвезли.

Я исполнил свой долг. Жду суда и спокойно встречу приговор. Думаю, что, если бы я и бежал, я бы все равно не мог жить после того, что сделал.

Обнимаю вас, милые друзья и товарищи. От всего сердца благодарен вам за вашу любовь и дружбу.

Прощаясь, я бы хотел напомнить вам слова: «Любовь познали мы в том, что Он положил за вас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев».

В этом письме была приписка лично ко мне. Ваня писал:

«Может быть, тебе странно, что я говорил о любви и решил убить, т. е. совершил тягчайший грех против людей и Бога.

Я не мог. Будь во мне чистая и невинная вера учеников, было бы, конечно, не то. Я верю: не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не искал в себе силы жить во имя любви и понял, что

могу и должен во имя ее умереть.

У меня нет раскаяния, нет и радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю: смерть еще не есть искупление. Но знаю также: «Аз есмь Истина и Путь и Живот».

Люди будут судить меня, и я жалею их. Кроме их суда, будет – я верю – суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христа не имеет границ.

Целую тебя. Будь счастлив, счастлив... Но помни: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

Я перечитываю эти листки папиросной бумаги, я спрашиваю себя: может быть, Ваня прав? Нет, сегодня сияет горячее солнце, трепещет опадающая листва... Я брожу по знакомым дорожкам, и во мне горит большая и яркая радость. Я рву цветы осени, я вдыхаю их отлетающий аромат, я целую их бледные лепестки.

Светлым праздником, торжественным воскресеньем звучат пророческие слова:

«От престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось».

Я счастлив: да, совершилось.

III

22 августа.

Я все еще прячусь здесь, все еще не могу уехать. Нас настойчиво ищут. Я оставил мои номера и в третий раз переменял маску. Я уже не Фрол Семенович Титов и не англичанин О'Бриен.

Падает осень. Золотом горит старый парк, лист шуршит под ногами. На заре лужи сверкают на солнце – тонким стеклом ломкого льда.

Я люблю печальную осень. Я сажусь на скамью, слушаю лес. Тихий покой обнимает меня. И мне чудится – нет смерти, нет крови. Есть святая для всех земля и над нею святое небо.

О случившемся уже забыли. Помнят только они, помним, конечно, мы. Ваню судят. Поговорят, помолчат, вынесут приговор, исполнят... Так замрет жизнь.

23 августа.

Я вызвал сегодня Елену письмом. Она вошла, и мне сразу стало радостно и спокойно.

Будто не было долгих дней тревоги и ожидания, будто не я жил мстью, холодно готовил убийство. Так радостно и спокойно бывает в летние вечера, когда звезды зажглись и в саду аромат цветов, теплый и пряный.

На Елене белое платье. Она дышит свежестью и здоровьем. Ей двадцать лет. Ее глаза не смеются. Она, стыдливая, говорит:

– Вы были все время здесь?

– Да, конечно, я был здесь.

– Так это вы?...

И она опускает глаза.

Мне хочется ее крепко обнять, поднять на руки, целовать, как ребенка. Теперь, когда я вижу ее, ее сияющие глаза, я знаю, я люблю ее детский смех, наивную красоту ее жизни.

И я с восторгом слушаю ее голос:

– Боже мой, если бы вы знали, как я боялась.

И потом шепчет еще:

– Как страшно...

Она краснеет. И вдруг, как тогда, мягко и нежно опускает мне руки на плечи.

Ее дыхание жжет мне лицо. И с неизведанной мукой встречаются наши губы.

Я прихожу в себя – она сидит в кресле. На моих устах еще ее поцелуй, и вся она такая близкая и чужая.

– Жорж, милый, любимый, Жорж, не будьте печальны.

И она стыдливо и жарко тянется ко мне.

Я целую ее. Целую ее волосы и глаза, ее бледные пальцы, ее любимые губы. Я не думаю уже ни о чем. Я знаю только: вот она у меня на руках и трепещет ее молодое тело.

Догорает в окне прощальный закат. Красный луч бродит

по потолку. Она, белая, лежит у меня на руках, и уже нет похмелья пролитой крови.

И нет ничего.

24 августа.

Эрна едет сегодня. Она похудела и как-то сразу увяла. Погас на щеках румянец, и лишь по-прежнему беспомощно вьются кудри – просят пощады. Я надолго прощаюсь с ней.

Она стоит передо мною, хрупкая и печальная. Ее опущенные ресницы дрожат. Она говорит тихо:

– Ну вот, Жоржик, конец.

– Ты рада?

– А ты?

Я хочу ей сказать, что я счастлив и горд, но в душе у меня сегодня нет ликования. Я угрюмо молчу.

Она вздыхает. Под кружевом платья ее грудь дышит прерывисто и глубоко. Она, видимо, хочет мне что-то сказать, волнуется и не смеет. Я говорю:

– Когда поезд отходит?

Она вздрагивает:

– В девять часов.

Я равнодушно смотрю на часы:

– Эрна, ты опоздаешь.

– Жорж...

Она все еще не решилась. Я знаю: она заговорит о любви, будет просить участия. Но во мне нет любви, и я ничем не

могу ей помочь.

– Жорж, неужели?...

– Что неужели?

– Неужели мы расстаемся?

– Ах, Эрна, не навсегда.

– Нет, навсегда.

Ее голос чуть слышен. Я отвечаю ей громко:

– Ты, Эрна, устала. Отдохни и забудь.

И до меня долетает шепот:

– Я не забуду.

В ту же минуту я вижу: ее глаза покраснели и легко, как вода, покатались чистые слезы. Она некрасиво трясет головою. Ее локоны мокнут в слезах, жалко свисают к шее. Она рыдает и шепчет невнятно, глотая слова:

– Жорж, милый, не уйди от меня... Солнышко мое, не уйди...

В памяти встала Елена. Я слышу ее звонкий радостный смех, вижу сияющие глаза. И я холодно говорю Эрне:

– Не плачь.

Она сразу умолкла. Вытерла слезы, уныло смотрит в окно. Потом встает и, шатаясь, подходит ко мне.

– Прощай, Жорж, прощай.

Я повторяю, как эхо:

– Прощай.

Вот она стоит у моих закрытых дверей и ждет. И все еще шепчет с тоскою:

– Жорж, ты ведь приедешь... Жорж?...

28 августа.

Эрна уехала. Кроме меня здесь еще Генрих. Он поедет за Эрной. Я знаю: он любит ее и, конечно, верит в любовь. Мне смешно и досадно.

Помню, я сидел в тюрьме и ждал казни. Тюрьма была сырая и грязная. В коридоре пахло махоркой, солдатскими шами. За окном шагал часовой. Иногда через стену с улицы долетали обрывки жизни, случайные слова разговора. И было странно: там, за окном, море, солнце и жизнь, а здесь одиночество и неизбежная смерть...

Днем я лежал на железной койке, читал прошлогоднюю «Ниву». Вечером тускло мерцали лампы. Я украдкой влезал на стол, цепляясь руками за прутья решетки. Видно было черное небо, южные звезды. Сияла Венера. Я говорил себе: еще много дней впереди, еще встанет утро; будет день, будет ночь. Я увижу солнце, я услышу людей.

Но как-то не верилось в смерть. Смерть казалась ненужной и потому невозможной. Даже радости не было, спокойной гордости, что умираю за дело. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита жизнь, не рождалось сомнения, что там – за темною гранью. А вот помню: меня занимало, режет ли веревка шею, больно ли задыхаться? И часто вечером после поверки, когда на дворе затихал барабан, я

пристально смотрел на желтый огонь моей лампы, стоявшей на покрытом хлебными крошками тюремном столе. Я спрашивал себя: нет ли страха в душе? И отвечал себе: нет. Потому что мне было все – все равно...

А потом я бежал. Первые дни в сердце было все то же мертвое равнодушие. Машинально я делал так, чтобы меня не поймали. Но зачем я это делал, зачем я бежал – не знаю. Там, в тюрьме, иногда казалось, что мир прекрасен, и хотелось воздуха и горячего солнца. А на воле меня снова томила скука. Но вот однажды под вечер я остался один. Восток уже потемнел, загорались ранние звезды. Розово-синей дымкой заткались горы. Снизу, с реки, повеяла ночь. Сильно пахнет трава. Громко трещат цикады. Воздух тягучий и сладкий, как сливки.

И вот в эту минуту я понял вдруг, что я жив, что нет смерти, что жизнь опять впереди и что я молод, здоров и силен...

И теперь я чувствую то же. Да, я молод, здоров и силен. Я еще раз ушел от смерти. И в сотый раз я спрашиваю себя: в чем моя вина, если б я целовал Эрну? И не большая ли вина, если б я отвернулся и если б я ее оттолкнул? Вот пришла женщина и принесла с собою любовь и милую ласку. Почему эта ласка рождает горе? Почему любовь дает не радость, а муку? Любовь... Любовь... О любви говорил и Ваня, но о какой? И знаю ли я какую-нибудь любовь? Не знаю, не могу и не пытаюсь узнать. Ваня знает. Но его уже нет.

1 сентября.

Снова приехал Андрей Петрович. Он с трудом разыскал меня и теперь долго и весело жмет мне руку. Его старческое лицо сияет. Он доволен. Морщинки у глаз расплзлись у него в улыбку.

– Поздравляю вас, Жорж.

– С чем это, Андрей Петрович?

Он лукаво щурит глаза, качает лысою головою:

– С победой и одолением.

Мне скучно с ним, и я бы охотно ушел. Мне скучны его слова, его докучные поздравления. Но он невинно улыбается мне:

– Да-а, Жорж, правду сказать, мы уж и надежду теряли. Неудачи да неудачи – чувствовали, что у вас неудачи. И знаете. – Он наклоняется к моему уху. – Упразднить даже вас хотели.

– Упразднить?... То есть как?

– Дело прошлое... Я скажу: не верилось нам. Сколько времени, а дел никаких... Ну и стали мы думать: не лучше ли упразднить? Все одно ничего не выйдет... Вот старые дураки... А?

Я с изумлением смотрю на него. Он все тот же, седой и дряхлый. Пальцы его, как всегда, прокопчены табаком.

– И вы... вы думаете, можно нас упразднить?

– Ну вот, Жорж, вы уже рассердились.

– Я не сержусь... Но скажите, вы думаете, можно нас

упразднить?

Он любовно хлопает меня по плечу:

– Эх, вы... Пошутить с вами нельзя...

И потом говорит деловито:

– Ну а теперь что? А?

– Пока ничего.

– Ничего?... Комитет решил...

– То комитет, а то я...

– Ах, Жорж...

Я смеюсь.

– Ну что вы, Андрей Петрович? Я говорю: дайте срок.

Он долго думает про себя, по-стариковски жуёт губами.

– Жорж, вы остаетесь здесь?

– Да.

– Уезжайте-ка лучше.

– У меня дело есть.

– Дело?

Он опечален: что за такие дела? Но спросить у меня не смеет.

– Ну ладно, Жорж, приедете – потолкуем...

И снова весело жмет руку.

Андрей Петрович судья: он хвалит и он же клеймит. Я молчу: он ведь искренно верит, что я рад похвале. Жалкий старик.

3 сентября.

Ваню сегодня судят. Я лежу в случайной квартире, на диване, в жарких подушках. Ночь. В раме окна ночное небо. На небе звездное ожерелье: Большая Медведица.

Я знаю: Ваня лежал целый день на тюремной койке, иногда вставал, подходил к столу и писал. А теперь ему так же, как мне, светит Медведица. И так же, как я, он не спит.

Я знаю еще: завтра войдет человек в красной рубахе с веревкою и нагайкой. Он свяжет Ване руки назад, и веревка вопьется в тело. Зазвонят под сводами шпоры, часовые уныло звякнут ружьем. Распахнутся ворота... На песчаной косе курится теплый туман, ноги вязнут в мокром песке. Розовеет восток. На бледно-розовом небе загнутый шпиль. Это – виселица. Это – закон.

Ваня всходит наверх. В утренней мгле он весь серый, глаза и волосы одного цвета. Холодно, и он ежится, глубже уходит шей в поднятый воротник. А потом палач надевает саван, стягивает веревку. Саван белый и рядом красный палач. Неожиданно громко стучит отброшенный табурет. Тело висит. Висит Ваня.

Подушки жгут мне лицо. Одеяло сползает на пол. Неудобно лежать. Я вижу Ваню, его восторженные глаза, русые кудри. И робко спрашиваю себя: зачем? зачем? зачем?

5 сентября.

Я говорю себе: Вани нет. Это простые слова, но мне не верится в них. Мне не верится, что он уже умер. Вот стукнет

дверь, он тихо войдет, и я, как прежде, услышу:

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

Ваня верил в Христа, я не верю. В чем же разница между нами? Я лгу, шпионю и убиваю. Ваня лгал, шпионил и убивал. Мы все живем обманом и кровью. Во имя любви?

Христос взошел на Голгофу. Он не убил, Он даровал людям жизнь. Он не лгал. Он учил людей истине. Он не предавался. Он сам был предан учеником. Так одно же из двух: или путь ко Христу, или... Или – Ваня сказал – Смердяков... И тогда я – Смердяков.

Я знаю: в Ване была святость, его правда – в его муках. Но святость и правда мне недоступны, непонятны. Я умру, как и он, но темною смертью, ибо в горьких водах – полынь.

6 сентября.

Елена мне говорит:

– Знаете, я так боялась за вас... Я не смела думать о вас...

Вы такой... странный.

Мы, как прежде, в парке. Осень дышит в лесу, гонит по ветру ржавые листья. Холодно. Пахнет землей.

– Милый, как хорошо...

Я беру ее руки, я целую тонкие пальцы, и уста мои шепчут:

– Милая, милая, милая...

Она смеется:

– Не будь таким грустным. Будь весел.

Но я говорю:

– Слушай, Елена. Я люблю тебя, я зову: иди за мною.

– Зачем?

– Я люблю тебя.

Она гибко прижалась ко мне и шепчет:

– Ты знаешь – я тоже люблю.

– А муж?

– Что же муж?

– Ты с ним.

– Ах, милый... Не все ли равно: сейчас я с тобою.

– Будь со мною всегда.

Она звонко смеется:

– Не знаю, не знаю.

– Елена, не смейся и не шути.

– Я не шучу...

Она опять обнимает меня.

– Разве нужно любить всегда? Разве можно любить всегда? Ты бы хотел, чтобы я любила тебя одного... Я не могу. Я уйду...

– Уйдешь к мужу?

Она молча кивает.

– Значит, ты любишь его.

– Милый, вот горит вечернее солнце, шумит ветер, шепчет трава. Вот мы любим друг друга. Что же еще? Зачем думать о том, что было? Зачем знать, что будет? Не мучь же меня. Не надо мучений. Будем радоваться вдвоем, будем жить.

Я не хочу горя и слез...

Я говорю:

– Ты сказала – ты его и моя. Скажи – так ли? Правда ли это?

– Да, правда.

Тень скользнула у нее по лицу. Глаза печальны и темны. Белое платье тает в сумерках дня.

– Почему?

– Ах, почему?...

Я наклоняюсь к ней близко:

– А если... Если бы не было мужа?

– Не знаю... Я ничего не знаю... Разве любовь вечна? Не спрашивай, милый... И не думай, не думай...

Она жарко целует меня. Я молчу. В моей душе медленно расцветает ревность; я не хочу и не буду делиться ни с кем.

10 сентября.

Елена тайком приходит ко мне, и быстро, как воды, текут часы и недели. Весь мир теперь для меня в одном: в моей к ней любви. Свернут свиток воспоминаний, помутилось зеркало жизни. Передо мною глаза Елены, ее губы, ее любимые руки, вся ее молодость и любовь. Я слышу ее смех, ее радостный голос. Я играю ее волосами, я жадно целую ее горячее и счастливое тело. Падает ночь. Ночью глаза еще ярче, смех еще звонче, поцелуи больше. И вот снова как чары: южный странный цветок, кровавый кактус, колдующий и влюб-

ленный. Что мне террор, революция, виселица и смерть, если она со мной?... Она входит робко, опуская глаза. Но вот вспыхнули огнем ее щеки, звенит ее смех. У меня на коленях она поет беззаботно и звонко. О чем ее песни? Я не знаю, не слышу. Я чувствую ее всю, и радость ее звучит в моем сердце, и во мне уже нет печали. И она целует и шепчет:

– Все равно... Пусть ты завтра уйдешь... Но сегодня ты мой... Я люблю тебя, милый.

И я не пойму ее. Я знаю: женщины любят тех, кто их любит, любят любовь. Но сегодня муж, завтра я, а послезавтра опять его поцелуи... Я ей однажды сказал:

– Как можешь ты целовать двоих?

Она подняла тонкие брови:

– Почему, милый, нет?

И я не знал, что ответить. Я злобно сказал:

– Я не хочу, чтобы ты целовала его.

Она рассмеялась:

– А он не хочет, чтобы я целовала тебя.

– Елена...

– Что, милый?

– Не говори со мной так.

– Ах, милый мой, милый... Что за дело тебе, кого и когда я целую? Разве я знаю, кого ты еще целовал? Разве я хочу и могу это знать? Я сегодня люблю тебя... Ты не рад? Ты не счастлив?

Я хочу ей сказать: у тебя нет стыда, нет любви... Но я мол-

чу: разве в моей душе живет стыд?

– Слушай, – смеется она, – зачем ты так говоришь? То можно, это нельзя? Умей жить, умею радоваться, умею взять от души любовь. Не нужно злобы, не нужно смерти. Мир велик, и всем хватает радости и любви. В счастье нет греха. В поцелуях нет обмана... Так не думай же ни о чем и целуй... – И потом говорит еще: – Вот ты, милый, не знаешь счастья... Вся твоя жизнь – только смерть. Ты железный, солнце не для тебя... Зачем думать о смерти? Надо радостно жить... Не правда ли, милый?

И я в ответ ей молчу.

12 сентября.

Я опять думаю о Елене. Быть может, она не любит меня, не любит и мужа. Быть может, она любит только любовь. Только в любви ее яркая жизнь, для любви она родилась на свет и во имя ее сойдет в могилу. И когда я думаю так, во мне встает отрадная злоба. Что из того, что Елена со мною, что я целую ее прекрасное тело и вижу любящие, в сиянии глаза?... Она с улыбкой уходит к мужу, она любовно живет его жизнью. Меня томит мысль о нем – об этом юноше, белокуром и стройном. И иногда, в тишине, я ловлю себя на мечтах, глубоких и тайных. И тогда мне кажется, что я думаю не о нем, а о том, кого уже нет и о ком я со злобою думал прежде. Мне кажется, что губернатор все еще жив...

Вот я иду тернистым путем. На узкой моей тропинке стоит

он, ее муж. Он мешает мне, она любит его.

Я смотрю, как в садах изнемогает усталая осень. Рдеют холодные астры, облетают сухие листья. Утренники свивают траву. В эти дни увяданья четко встает привычная мысль. Я вспоминаю забытое слово:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу
И – убей!

13 сентября.

Генрих все эти дни прожил здесь. У него в Заречье семья. Только сегодня он уезжает к Эрне.

Он отдохнул, пополнил и окреп. Глаза у него блестят, и уже нет вялых слов. Я давно не видел его.

Мы сидим с ним в трактире. Здесь когда-то бывал с нами Ваня. Генрих ест и в промежутках между едой говорит:

– Читали, Жорж, что в наших «Известиях» пишут?

– О чем?

– Да о губернаторе.

– Нет, не читал.

Он возмущен моим равнодушием и вынимает тонкий листок печатной бумаги.

– Вот, Жорж, прочтите.

Мне скучно слушать его, скучно читать. Я отстраняю бумагу рукой. Я говорю с неохотой:

– Спрячьте. Не стоит.

– Что вы? Как же не стоит? Ведь для этого все.

– Для газетной статьи?

– Вы смеетесь... Печатное слово необходимо.

Мне скучно. Я говорю:

– Бросим об этом. Слушайте, Генрих, вы ведь любите Эрну?...

Он роняет ложку в тарелку и густо краснеет. Потом дрогнувшим голосом говорит:

– Откуда вы знаете?

– Знаю.

Он в смущении умолк.

– Ну так берегите ее... И желаю вам счастья.

Он встает, долго ходит по грязному кабинету. Наконец говорит тихо:

– Жорж, я вам верю. Скажите мне правду.

– Что вам сказать?

– А вы не любите Эрну?

Мне смешно его хмурое, в красных пятнах лицо. Я громко смеюсь:

– Я? Люблю Эрну? Что вы? Бог с вами.

– И никогда... никогда не любили?

Я говорю отдельно и ясно:

– Нет. Не любил.

Его лицо расцветает счастливой улыбкой. Он приветливо жмет мне руку:

– Ну, еду. Прощайте.

Он уходит. Я долго сижу один за грязным столом, между грязных тарелок. И вдруг – безудержно смешно: я люблю, она любит, он любит... Что за скучная песня.

14 сентября.

Сегодня не видел Елены. Ушел вечером в Тиволи. Как всегда, бесстыдно гремел оркестр, пели цыгане. Как всегда, бродили женщины между столов, и их платья шуршали шелком. И я, как всегда, скучал.

За соседним столом пьяный морской офицер. Блестит в стаканах вино, вспыхивают бриллианты у дам. До меня долетает смех и бессвязный говор. Медленно ходит стрелка часов.

Вдруг я слышу:

– Что вы скучаете здесь?

Офицер, шатаясь, протягивает мне стакан. У него багровые щеки и подстриженные усы. Такие усы носил губернатор.

– Как вам не стыдно скучать... Позвольте представиться: Берг... Пойдемте к нам за наш стол... Дамы вас просят...

Я встаю, называю себя:

– Инженер Малиновский.

Мне все равно, где сидеть; я лениво сажусь за их стол. Все смеются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, за окном сереет рассвет.

Вдруг я слышу, кто-то спросил:

– Где Иванов?

– Какой Иванов?

– Да полковник Иванов. Куда девался Иванов?

Я вспоминаю: начальник охранного отделения Иванов.

Уж не его ли зовут? Я наклоняюсь к плечу соседа:

– Извините, не жандармский ли полковник Иванов?

– Ну да... конечно... Он самый... Друг и пр-риятель...

Меня жжет желанный соблазн. Я не встану. Я не уйду.

Знаю: этот Иванов, конечно, носит с собой мой портрет.

Жду.

Входит Иванов. Он похож на купца, рыжебородый и толстый. Грузно садится за стол и пьет водку. Нас, конечно, знакомят.

– Малиновский.

– Иванов.

Он пришел сюда пить. И мне снова скучно. Вот опять желанный соблазн – подойти к нему и шепнуть:

– Джордж О’Бриен, полковник.

Но я молча встаю. На дворе плачет дождь, спит каменный город. Я один. Мне холодно и темно.

15 сентября.

Я спрашиваю себя: зачем я тут? Чего я могу добиться? Елена только любовница. Она никогда не будет женой. Я знаю это и все-таки не могу уехать. Я знаю также, что лишний день – лишний риск и что на карте стоит моя жизнь. Но

я так хочу.

В Версале, в парке, с веранды видны озера. Между нежных боскетов и кокетливых клумб их берега чертят четкие линии. Влажным дымом клубятся фонтаны, молчат зеркальные воды. И над ними сонный покой.

Я закрываю глаза: я в Версале. Я бы хотел забыть о Елене, я бы хотел сегодня покоя. Течет река жизни, день встает и уходит. А я, как раб на цепи, с моею любовью.

Где-то вдаль ледяная высь. Горы блещут лазурью, девственным снегом. Люди мирно живут у их ног, мирно любят и с миром же умирают. Им светит солнце, их греет любовь. Но чтобы жить, как они, нужны не гнев и не меч... И я вспоминаю Ваню. Может быть, он и прав, но белые ризы не для меня: Христос не со мною.

16 сентября.

– Милый мой, отчего ты всегда печальный, – говорит мне Елена, – разве я не люблю тебя? Вот, смотри, я подарю тебе жемчуг.

Она снимает с пальца кольцо. В золотом кольце, как слеза, большая жемчужина.

– Береги ее... Это моя любовь.

И она доверчиво обнимает меня.

– Ты горюешь, что я тебе не жена? О, я знаю: брак – привычка любви, вялая, без блеска любовь. А я хочу любить тебя... Я хочу красоты и счастья...

И задумчиво говорит еще:

– Почему люди пишут разные буквы, из букв слагают слова, из слов законы? Этих законов библиотеки. Нельзя жить, нельзя любить, нельзя думать. На каждый день есть запрет... Как это смешно и глупо... Почему я должна любить одного? Скажи, почему?

И я опять ничего не умею ответить.

– Вот видишь, Жорж, ты молчишь. Ты тоже не знаешь. Разве ты никого не любил?...

Мне жутко. Да, я любил не одну, и я никогда не знал, зачем пишут законы. Она говорит мои же слова. Но теперь я в них чувствую ложь. И я хочу ей об этом сказать, но не смею.

У нее тяжелые черные косы. Они упали на плечи. В темной рамке кудрей ее лицо бледнее и тоньше. И глаза ее ждут ответа.

Я молча целую ее. Я целую ее невинные руки, ее сильное, молодое тело. Поцелуи мучат меня. Вот опять замороженная мысль о том, кто, как я, целует ее и кого она любит. И я говорю:

– Нет, слушай, Елена... Или он, или я...

Она смеется:

– Вот видишь: я раба, а ты господин... А если я не хочу выбирать?... Скажи, зачем выбирать?

За окном шумит дождь. В полутьме я вижу ее силуэт, ее большие, черные ночью глаза. Я говорю, бледнея:

– Я хочу так, Елена.

Она грустно молчит.

– Выбирай.

– Милый, я не могу...

– Я сказал: выбирай.

Она быстро встает. Говорит решительно и спокойно:

– Я люблю тебя, Жорж. Ты это знаешь. Но я не буду твоею женой никогда.

Она ушла. Я один. Только жемчуг ее со мною.

17 сентября.

Елена любит свое прекрасное тело, свою молодую жизнь. Говорят, в этой любви свобода. Мне смешно: пусть Елена раба, а я господин, пусть я раб, а она свободна... Я твердо знаю одно: я не могу делиться любовью. Я не могу целовать, если целует другой.

Ваня искал Христа, Елена ищет свободы. Мне все равно: пусть Христос, пусть Антихрист, пусть Дионис. Я не ищу ничего. Я ее желаю. И в моем желании мое право.

Вот опять багровый цветок опьяняет меня. Опять свершается тайное колдовство. Я как камень в пустыне, но в руке моей – острый серп.

18 сентября.

Вчера было то, чего я ждал и во что тайно не верил. День скорби и поругания. Я шел по главной улице. Ползал молочный туман, таял волнистою мглою.

Я шел без цели, без мыслей, как корабль в волнах без руля.

Вдруг в тумане сгустилось пятно, колыхнулась неясная тень. Прямо навстречу мне быстро шел офицер. Он взглянул на меня и сразу остановился. Я узнал: муж Елены. Я впился глазами в глаза и в темных зрачках прочел гнев.

Тогда я мягко взял его под руку и сказал:

– Я ждал вас давно.

Мы молча пошли по улице. Мы шли долго во мгле, и оба знали свой путь. И были близки, как братья. Так вышли мы в парк.

В парке осень. Ветви голые – решетка тюрьмы. Тает туман, в тумане мокнет трава. Пахнет гнилью и мхом.

Далеко, в заросшей чаще, я выбираю тропинку. Я сажусь на срубленный пенек и холодно говорю:

– Вы узнали меня?

Он молча кивает мне головою.

– Вы знаете, зачем я здесь?

Он кивает опять.

– Ну, вы знаете: я не уеду.

Он с усмешкою говорит:

– Вы уверены в этом?

Уверен ли я? Я не знаю. Кто поймет, кого любит Елена?

Но я говорю только:

– А вы?

Пауза.

– Вот что: вы уедете. Поняли? Вы.

Он вспыхнул гневным румянцем. Но говорит хладнокровно:

– Вы – сумасшедший.

Тогда я молча вынимаю оружие. Я меряю восемь шагов по траве и кладу на концах их мокрые прутья: барьер. Он следит со вниманием. Я кончаю. Он говорит улыбаясь:

– Что ж, вы хотите драться?

– Я требую: уезжайте.

Белокурый и стройный, он смотрит мне прямо в глаза. И насмешливо повторяет:

– Вы – сумасшедший.

Я говорю, помолчав:

– Вы будете драться?

Он отстегнул кобуру, нехотя вынул револьвер. Потом подумал минуту и говорит:

– Хорошо... Я к вашим услугам.

Вот он уже у барьера. Знаю: я бью в туза на десять шагов. Промаха быть не может.

Я поднял револьвер. На черной мушке пуговица пальто. Жду. Тишина. Я говорю очень громко:

– Раз...

Он молчит.

– Два и... три.

Он стоит неподвижно, грудью ко мне. Его револьвер опущен. Он насмехается надо мной... Вдруг какой-то горячий и жесткий комок сжимает мне горло. Я в гневе кричу:

– Стреляйте...

Ни звука. Тогда я медленно, радостно, долго нажимаю курок. Желтым светом сверкнуло пламя, пополз белый дым.

...

Я пошел по мокрой траве и наклонился над телом. Он лежал на тропинке ничком в холодной и мягкой грязи. Странно согнулась рука, широко раскинулись ноги. Сеял дождь. Было мглисто. Я свернул в чащу леса. Уже сумерки набежали. Между деревьев – ни зги. Я шел, и не было цели. Так идет корабль без руля.

20 сентября.

В Цусимском бою гибли люди. Темная ночь, в море мгла, ходит зыбь. Как огромный раненый зверь, прячется броненосец. Чуть чернеют черные трубы, молчат гремящие пушки. Днем дрались, ночью бегут, ждут атаки. Сотни глаз шарят тьму. И вдруг вопль – крик испуганной чайки: «Миноносек по борту!» Вспыхнул прожектор, белым светом ослепла ночь. А потом... Кто на палубе и – кинулся в море. Кто внутри за кованой броней – бьется о люк. Медленно тонет корабль, уходит носом под воду. Машинисты в машине кулями срываются вниз. Их бьют железные цепи, крошат колеса, душит дым, обжигает пар. Так гибнут они. А с бортов, баюкая, бьется волна... Бессмысленно-безымянная смерть.

А вот смерть еще. Север, море, северный шторм. Ветер рвет паруса, взвивает белую пену. В серых волнах рыбачья

лодка. Серый день меркнет бледной зарею. Где-то вдали загорелся маяк. Красный, белый и снова красный. Люди застыли на скользком носу, вцепились в канаты. Ропщет волна, брызжет дождь... И вдруг сквозь вой ветра – медленный звон. У низкого борта бьется колокол на воде и звонит. Это бакен. Это мель. Это смерть... И потом опять ветер, небо и волны. Но уже нет никого.

И смерть еще: я убил человека... До сих пор я имел оправдание: я убиваю во имя идеи, во имя дела... Те, что топили японцев, знали, как я: смерть нужна для России.

Но вот я убил *для себя*. Я захотел и убил. Кто судья? Кто осудит меня? Кто оправдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верою скажет: убить нельзя, не убий? Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. Почему для идеи убить – хорошо, для отечества – нужно, для себя – невозможно? Кто мне ответит?

Вот в окно глядит ночь, я вижу горящие звезды. Блещет Медведица, струится серебряный Млечный Путь, робко сверкают Плеяды. Что за ними?... Ваня верил. Он знал. А я стою одинокий, и ночь непонятно молчит, и земля дышит тайной, и загадочно мерцают звезды. Я прошел трудный путь. Где конец? Где мой заслуженный отдых? Кровь родит кровь, и месть живет мезтью. Я убил не только его... Камо пойду и камо бежу?...

22 сентября.

Сегодня с утра льет дождь, мелкий, осенний. Я смотрю в его паутинную сеть, и лениво, как капли, меня тревожат скучные мысли.

Жил Ваня и умер. Жил Федор, его убили. Жил губернатор, и его уже нет... Живут, умирают, рождаются. Живут, умирают... Хмурится небо, льет дождь.

Во мне нет раскаяния. Да, я убил... Во мне нет горечи за Елену. Будто мой разбойничий выстрел выжег любовь. Мне чужда теперь ее мука. Я не знаю, где она и что с нею. Плачет она над ним, над своей жизнью или уже забыла? Кого забыла? Меня? Меня и его. Опять его. Мы и теперь с ним скованы цепью.

Сеет дождь, шумит по железным крышам. Ваня сказал: как жить без любви? Это Ваня сказал, а не я... Нет, я – мастер красного цеха... Я опять займусь ремеслом. Изю дня в день, из долгого часа в час я буду украдкой следить, буду жить смертью, и однажды сверкнет пьяная радость: совершилось – я победил. И так до виселицы, до гроба.

А люди будут хвалить, громко радоваться победе. Что мне их гнев, их жалкая радость?...

Молочно-белый туман опять обвеял весь город. Уныло торчат дымовые трубы, гудит на фабрике долгий гудок. Ползет холодная мгла. Сеет дождь.

23 сентября.

Христос сказал: «Не убий», и ученик Его Петр обнажил для убийства меч. Христос сказал: «Любите друг друга», и Иуда предал Его. Христос сказал: «Я пришел не судить, но спасти», и был осужден.

Две тысячи лет назад Он молился в кровавом поту, и ученики Его спали. Две тысячи лет назад народ одел Его в багряницу: «возьми и распни Его». И Пилат сказал: «Царя ли вашего распну?» Но первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря».

И теперь еще Петр обнажает меч, Анна судит с Каиафою, Иуда Симонов предает. И теперь еще распинают Христа.

Значит, Он – не лоза, мы – не ветви. Значит, слово Его – сосуд глиняный. Значит, Ваня не прав... Бедный, любящий Ваня... Он искал оправдания жизни. К чему оправдание?

Гунны прошли по полям, растоптали зеленые всходы. Бледный конь ступил на траву, завяла трава. Люди слышали слово, и вот – поругано слово.

Ваня с верой писал: «не мечом, а любовью спасается мир и любовью устроится». Но и Ваня убил, «совершил тягчайший грех против людей и Бога». Если бы я думал, как он, я бы не мог убить. И, убив, не могу думать, как он.

Вот Генрих. Для него нет загадок. Мир, как азбука, прост. На одной стороне рабы, на другой – владыки. Рабы восстают на владык. Хорошо, когда убивает раб. Дурно, когда убивают раба. Будет день, рабы победят. Тогда рай и благовест на земле: все равны, все сыты и все свободны. Отлично.

Не верю я в рай на земле, не верую в рай на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь – борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь? – не знаю. Я так хочу. Пью вино цельное.

24 сентября.

Я опять нанял комнату, живу в номерах: инженер Малиновский. Я живу как хочу. Мне теперь все равно: пусть меня ищут. Пусть меня арестуют.

Вечер. Холодно. Над голой фабричной трубой обманчивый месяц. Лунный свет струится на крыши, сонно ложится тень. Город спит. Я не сплю.

Вот я думаю о Елене. Мне странно теперь, что я мог ее полюбить, мог убить во имя любви. Я хочу воскресить ее поцелуи. Память лжет: нет радости, нет восторга. Утомленно звучат слова, ласкают лениво руки. Как вечерний огонь, угасла любовь. Снова сумерки, скучная жизнь.

Я спрашиваю себя: зачем я убил? Чего я смертью добился? Да, я верил: можно убить. А теперь мне грустно: я убил не только его, убил и любовь. Так грустит печальная осень: осыпается мертвый лист. Мертвый лист моих утраченных дней.

25 сентября.

Взял сегодня случайно газету. Прочел мелким шрифтом известие:

«Вчера вечером в гостиницу „Гранд-Отель“ явилась полиция с предписанием задержать проживавшую там дворянку Петрову. В ответ на требование открыть за дверью раздался выстрел. Взломавшими дверь чинами полиции был на полу обнаружен еще не остывший труп самоубийцы. Производится следствие».

Под фамилией Петровой скрывалась Эрна.

26 сентября.

Я знаю, как это было. Ночью под утро к ней постучались. Постучались не громко. В комнате было темно и тихо. Она чутко спала и тотчас проснулась. Вот постучались опять, уже настойчивее и громче. Она быстро поправила косы и встала. Не зажигая огня, босиком подошла к большому столу, направо, у фортепиано. Ощупью, также бесшумно, вынула из ящика револьвер. Я знаю этот револьвер. Я сам подарил его ей. Потом она начала одеваться, все еще ощупью, в темноте. Постучались в третий, в последний раз. Полуодетая, она ушла в угол, к окну. Откинула темную занавеску. Увидела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд – тусклый фонарь внизу... Двери уже ломали. Кто-то мерно стучал топором. Она повернулась к дверям и сильным, гибким движением прижала револьвер к груди. К голому телу. У сердца, пониже соска. Потом она лежала навзничь в углу. На ковре чернел револьвер. И опять было темно и тихо.

А теперь, вот сейчас, она, как живая, стоит у моих дверей.

Локоны сбились, голубые глаза потухли. Она дрожит хрупким телом и шепчет:

– Жорж, ты ведь приедешь... Жорж...

Я сегодня пойду по городу. Горят кресты на церквах. Звонят уныло к вечерням. В улицах говор и шум. Все мне близко и чуждо. Здесь Ваня убил. Там, в переулке, внизу, умер Федор. Здесь я встретил Елену... В парке плакала Эрна... Все прошло. Был огонь, теперь тает дым.

27 сентября.

Мне скучно жить. Сегодня как завтра, и вчера как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь как тесная улица: дома старые, низкие плоские крыши, фабричные трубы. Черный лес каменных труб.

Вот театр марионеток. Взвился занавес: мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви. У Пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь – красный, клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: охота на человека. Он – в шляпе с петушиным пером, адмирал швейцарского флота. Мы – в красных плащах и масках. С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабинеры, не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках картонные шпаги. Они пьют, целуют, поют.

Иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.

Браво! Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки спутались. Где адмирал, Ринальдо, влюбленный Пьеро, – кто разберет? Покойной ночи. До завтра.

Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьеретта, Пьеро. Льется кровь – клюквенный сок.

И люди ищут здесь смысла? И я ищу звеньев цепи? И Ваня верует: Бог? И Генрих верит: свобода?... Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки, летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?

Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завизжит за сценой шарманка, спасется бегством Пьеро. Приходите. Открыт балаган.

Помню: позднею осенью, ночью, я был на морском берегу. Сонно вздыхало море, лениво ползло на берег, лениво мыло песок. Был туман. В белесой мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Что-то влажное, водное обнимало меня. Я дышал соленую влагой. Я слышал шорох воды. Ни звезды, ни просвета. Кругом прозрачная мгла.

Так и теперь. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает?

1 октября.

Я бежал из города. Вчера вечером я пришел на вокзал, машинально сел в поезд. С лязгом гремят буфера, гнутся рессоры. Свистит паровоз. Торопливо в окне мелькают огни. Торопливо стучат колеса.

Здесь – осенняя грязь. Хмурится утро. Волны в реке как свинец. За рекою туманная тень, острый шпиц.

В три часа день потух, зажгли фонари. Ревет с моря ветер. Бурлит в граните река: наводнение.

Скучно. Там – кресты, здесь – солдаты. Монастырь – и казарма... Я жду ночи. Ночью мой час. Час забвения и мира.

3 октября.

Вчера я случайно встретил Андрея Петровича. Он обрадовался, глаза его улыбнулись. Он не подходит ко мне. Осторожный, он идет следом за мной.

Я не хочу его видеть. Не хочу говорить о делах. Я знаю его слова, благоразумные поучения. Я ускоряю шаги, ухожу в переулок. Он догоняет меня.

– Приехали, Жорж? Слава Богу.

И крепко жмет мою руку.

– Зайдемте в трактир.

Как всегда, хрипит разбитый орган, снуют половые. Мне неприятен табачный дым, крепкий запах водки, еды и пива.

– Мы вас ждали. Слушайте, Жорж.

– Ну?

Он таинственно шепчет:

– Много работы... Слышали – Эрну взяли? Она застрелилась.

– Ну?

– Нужно поставить дело. Мы решили.

Трясется седая бородка, по-стариковски мигают глаза. Он ждет моего ответа.

Пауза. Он опять говорит:

– Мы решили вам поручить. Дело трудное. Но вы справитесь, Жорж.

Я слушаю его и не слышу. Кто-то чужой говорит чужие слова. Вот он зовет меня куда-то... Я не хочу убивать. Зачем?

И я говорю:

– Зачем?

– Что, Жорж, зачем?

– Зачем убивать?

Он не понял меня – наливает стакан холодной воды:

– Выпейте. Вы устали.

– Я не устал.

– Жорж... что с вами?

Он с тревогой глядит на меня и ласково, как отец, гладит мне руку. А я уже знаю: я не с ним, не с Ваней, не с Эрной. Я – ни с кем.

Я беру свою шляпу:

– Прощайте, Андрей Петрович.

– Жорж...

– Ну?

– Жорж, вы больны: отдохните.

Пауза. Потом я медленно говорю:

– Я не устал и здоров. Но ничего больше делать не буду.

Прощайте.

На улице та же грязь, за рекой тот же шпиг. Серо, сыро и жутко.

4 октября.

Я понял: не хочу больше жить. Мне скучны мои слова, мои мысли, мои желания. Мне скучны люди, их жизнь. Между ними и мною – предел. Есть заветные рубежи. Мой рубеж – алый меч.

В детстве я видел солнце. Оно слепило меня, жгло лучистым сиянием. В детстве я знал любовь – материнскую ласку. Я невинно любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час: все ложь и все суета.

5 октября.

Было желание, я делал мое дело. Я не хочу ничего теперь. Зачем? Для сцены? Для марионеток?

Я вспоминаю: «кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Я не люблю и не знаю Бога. Ваня знал.

Знал ли он?

И еще: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Во что верить? Кому молиться?... Я не хочу молитвы рабов... Пусть Христос зажег Словом свет. Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир. Мне не нужно любви. Я один. Я уйду из скучного балагана. И – отверзется на небе храм – я скажу и тогда: все суета и все ложь.

Сегодня ясный, задумчивый день. Река сверкает на солнце. Я люблю ее величавую гладь, лоно вод, глубоких и тихих. В море гаснет печальный закат, горят багряные зори. Грустно плещет волна. Никнут ели. Пахнет смолой. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово: мой револьвер со мною.

1909(?) г.